КЭНДЗАБУРО ОЭ

ФУТБОЛ 1860 ГОДА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Кэндзабуро Оэ
Футбол 1860 года
Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71431915
Футбол 1860 года:
ISBN 978-5-17-164100-9

Аннотация

Вышедший в 1967 году «Футбол 1860 года» мгновенно стал национальным бестселлером: в течение одного года он выдержал 11 переизданий, а затем принес своему создателю престижную премию Дзюнъитиро Танидзаки.

Роман повествует о жизни двух братьев, которые волею судеб возвращаются в родную деревню в поисках истинного смысла жизни и собственного «я». И пока один пытается справиться с накатившими несчастьями: друг умер, жена потихоньку спивается, а ребенка пришлось поместить в больницу, – второй организует футбольную команду с целью сплотить односельчан и устроить бунт, вдохновившись восстанием, случившимся в этих краях в 1860 году…

Содержание

1. Ведомые мертвецом 5
2. Семья встречается снова 40
3. Мощь леса 70
4. Все сущее, явное и кажущееся, – всего лишь сон сна 102
Конец ознакомительного фрагмента. 112

Оэ Кэндзабуро
Футбол 1860 года

© Kenzaburo Oe, 1967
© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024

1. Ведомые мертвецом

Пробуждаясь в предрассветной мгле, я пытаюсь отыскать в себе жгучее чувство надежды, но обнаруживаю лишь горький осадок сна. Мои лихорадочные поиски, движимые мыслью, что чувство надежды, такое же жгучее, как и опалившее внутренности виски, снова вернется ко мне, всякий раз оказываются тщетными. Я сжимаю обессилевшие пальцы. Каждый мускул, каждая косточка кажутся непомерно тяжелыми, но с приближением рассвета это ощущение неохотно покидает меня, уступая место острой боли. И я с покорностью снова обретаю свое отяжелевшее тело, испытывающее острую боль в каждой частице в отдельности, не ощущающее, что эти частицы как-то связаны между собой. И, настойчиво избегая воспоминаний о том, что это за поза и отчего я принял ее, скрючившись, засыпаю.

Каждый раз, просыпаясь, я снова и снова стараюсь обрести жгучее чувство надежды. Не ощущение утраты, а жгучее чувство надежды, позитивное, существующее само по себе. Убежденный, что мне не удастся его обнаружить, я пытаюсь вновь толкнуть себя в пропасть сна: спи, спи, мир не существует.

Но в это утро боль во всем теле, словно от страшного яда, не дает окунуться в сон. Рвется наружу страх. До восхода, пожалуй, еще не меньше часа. И до тех пор не узнаешь, какой

сегодня будет день. Точно зародыш в утробе матери, я лежу в темноте, не представляя, что происходит вокруг. Раньше в такие минуты можно было предаться дурной привычке. Но сейчас, когда тебе двадцать семь лет, ты женат и даже имеешь ребенка, который находится в клинике для умственно отсталых детей, вскипает стыд, стоит представить себя занимающимся рукоблудием, и я убиваю это еще не успевшее родиться желание. Спи, спи, а если не можешь, то хоть притворись спящим. Неожиданно из тьмы в моем воображении всплывает прямоугольная выгребная яма, которую вчера вырыли рабочие. В больном теле скапливается разрушительный горький яд и медленно, точно паста из тюбика, начинает сочиться из ушей, глаз, носа, рта…

В полусне я встаю и, поминутно останавливаясь, плетусь в кромешной тьме. Глаза закрыты, и я, беспрерывно натыкаясь то на дверь, то на стену, то на мебель, точно в бреду, издаю жалобные стоны. Правый глаз все равно ничего не видит, сколько ни напрягайся, даже в ясный день. Смогу ли я когда-нибудь постичь скрытый смысл обстоятельств, при которых я потерял правый глаз? Это был нелепейший случай. Однажды утром, когда я шел по улице, разбушевавшиеся школьники с воплями бросались камнями. Мне угодили в глаз, я упал на мостовую, так и не успев понять, что произошло. Правый глаз – и белок и зрачок – оказался рассеченным и перестал видеть. Мне и сейчас кажется, что я не до конца понимаю истинный смысл происшедшего. Может

быть, я просто боюсь понять его.

Если идешь, прикрыв ладонью правый глаз, то обязательно натыкаешься на предметы, поджидающие тебя справа, и ударяешься о них. Естественно, что на правой половине моей головы появлялись все новые и новые ссадины. Я уродлив. Это постоянно внушала мне мать еще до того, как я ослеп на один глаз. Предсказывая, каким уродом я вырасту, она всегда сравнивала меня с младшим братом, обещавшим превратиться в красавца. Так что постепенно я свыкся с мыслью о своем уродстве. А вытекший глаз усугубляет и постоянно подчеркивает его. Врожденное уродство старается укрыться в тень и помалкивать. И вытекший глаз виноват в том, что я вытаскиваю его на свет божий. Я придумал занятие для погруженного во тьму глаза. Глаз, потерявший способность видеть то, что меня окружает, я превратил в глаз, широко открытый во тьму черепной коробки. И этим глазом я всегда пристально вглядываюсь в наполненную кровью горячую тьму – жарче температуры моего тела. Я сам назначил себя в разведку, чтобы, вглядываясь в ночной лес во мне, приучиться следить за происходящим внутри меня.

Пройдя столовую и кухню, я нащупываю дверь, распахиваю ее и только тогда открываю глаза – в предрассветной осенней дымке белеют лишь далекие горы. Подбегает черная собака и начинает ластиться ко мне. Но сразу же, уловив мой запрет, так и не залаяв, съеживается и смотрит на меня, выставив из темноты мордочку, похожую на гриб. Я

подхватываю ее под мышку и медленно иду вперед. От собаки пахнет. Она прерывисто дышит. Под мышкой становится жарко. Может быть, собака больна? Босой палец натыкается на доску, ограждающую яму. Тогда я спускаю собаку на землю, рукой нащупываю лестницу, а потом обнимаю тьму в том месте, куда опустил собаку, – тьма оказывается наполненной ею. Невольно улыбаюсь, но улыбка мимолетна. Собака действительно больна. С трудом спускаюсь по лестнице. В лужицах на дне ямы стоит вода – ее так мало, что она не закрывает и ступни босых ног. Кажется, что яма сочится влагой. Как мясо соком. Я сажусь прямо на землю и чувствую, как вода, просочившись сквозь пижамные штаны и трусы, мочит зад, и я вдруг обнаруживаю, что принимаю это с покорностью, как человек, который не в силах ничему противиться. Но собака, естественно, может противиться тому, чтобы сидеть в воде. Собака молча, но с таким видом, будто собирается что-то сказать, примащивается у меня на коленях и слегка прижимается ко мне жарким, дрожащим телом. Чтобы сохранить равновесие, она когтями, превратившимися в крючки, вонзается в мои колени. Я чувствую, что не в силах противиться этой боли, а через пять минут вообще становлюсь равнодушен к ней. Становлюсь равнодушен и к воде, намочившей зад. Я ощущаю свое тело – высотой в сто семьдесят два сантиметра и весом в семьдесят килограммов – как тяжесть земли, которую рабочие выкопали вчера там, где я сейчас сижу, и сбросили в реку. Мое тело сливается с

землей. Среди всего: и моего тела, и окружающей меня земли, и сырого воздуха – живут только тепло собаки и ее ноздри, напоминающие двух блестящих жучков.

Ноздри двигаются с поразительной энергией и вбирают в себя исходящий от ямы убогий запах, точно это сказочный аромат. И потому, что возможности ноздрей до конца исчерпаны, собака уже не в состоянии различить каждый из бесчисленного множества поглощаемых запахов, а после того как я, почти лишившись чувств, прислоняюсь затылком (мне кажется, прямо черепной коробкой) к стене ямы, ей не остается ничего другого, как вдыхать тысячи запахов и ничтожное количество кислорода.

Разрушительный горький яд заливает все тело, и не похоже, что он просочится наружу. Жгучее чувство надежды не приходит, но страх покидает меня. Я становлюсь безразличным ко всему и вот сейчас безразличен даже к тому, что я обладаю плотью и кровью. Жаль только, что меня, совершенно безразличного к самому себе, не видят чьи-либо глаза. Собачьи? У собаки нет глаз. У меня, безразличного, тоже нет глаз. Как только я спустился по лестнице, сразу же закрыл глаза и сейчас сижу, не открывая их…

Потом мне привиделся товарищ, на кремации которого я присутствовал. В конце лета он выкрасил в красный цвет голову, разделся догола и повесился. Его жена, которая после ночной попойки, как больной заяц, еле приползла домой, обнаружила странный труп мужа. Почему же он не пошел на

вечеринку вместе с ней? Это ни у кого не вызвало сомнений. Все знали: не пошел, чтобы остаться в своем кабинете и поработать над переводом (этот перевод мы делали вместе).

Жена товарища, точно прокрутили назад киноленту, топча никому не видимые ночные тени, единым духом промчалась оттуда, где стояла, в двух метрах от трупа, до того места, где была вечеринка, – от ужаса волосы у нее встали дыбом, она бежала, размахивая руками, беззвучно крича, зеленые туфли все время сваливались у нее с ног, и даже после того, как сообщили в полицию, она все продолжала всхлипывать, пока ее не увели родители. Едва полиция закончила расследование, все заботы о похоронах пали на меня и бабку покойного, оказавшуюся женщиной мужественной. Рассчитывать на его мать, страдавшую слабоумием, не приходилось. Когда я попытался смыть краску, труп, точно проявляя своеволие, неожиданно воспротивился. Мы с бабкой, избегая соболезнований, никого к нему не пускали и ночь провели втроем с покойным, бесчисленное множество клеток которого, так недавно составляющих его индивидуальность, непрестанно, стремительно и незримо разрушалось. Расползающиеся, безвозвратно теряющие форму розоватые клетки сдерживала, точно плотина, ссыхающаяся кожа. Этот человек, ставший теперь трупом с красной головой, жил, как это ни горько, будто протискиваясь изо всех сил сквозь узкую дренажную трубу, и сейчас, когда уже почти пробрался сквозь нее, выглядевший гораздо собраннее, до ужаса ре-

альнее в своем существовании, чем за все двадцать семь лет пришедшей к концу жизни, лежал на простой солдатской койке и надменно разлагался. Плотина из кожи вот-вот прорвется. Забродившие клетки гонят, точно спирт, вполне конкретную смерть тела. И оставшимся в живых положено испить это. Меня влекут таинственные минуты, которые рождает тело товарища вместе с пахнущими лилией гнилостными бактериями. Глядя на чистую сферу времени, когда труп товарища, пока он существует, беспрерывно совершает свой единственный полет, я убедился в непрочности еще одного, иного времени, способного повторяться, мягкого и теплого, как темя младенца.

Мне трудно преодолеть зависть. Когда я навеки сомкну глаза, товарищ не увидит, как мое тело будет разлагаться, и не сможет постичь истинный смысл происходящего.

– Надо было уговорить его вернуться в санаторий.

– Нет, он больше не мог туда поехать, – возразила бабка. – В санатории он себя вел прекрасно, все больные так уважали его. И тем не менее он уже не мог оставаться там. Вы просто забыли об этом и теперь совершенно напрасно упрекаете себя. Что ни делается, все к лучшему – это ведь действительно очень хорошо, что, выйдя оттуда, он смог хоть немного пожить на свободе. Если бы он там покончил с собой, то ему, наверное, не удалось бы повеситься, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола. Больные, так уважавшие его, определенно бы помешали.

– Ваша выдержка помогает сохранять присутствие духа.

– Все умрут. И через сто лет уже никто не будет докапываться, как умер тот или иной человек. Что может быть лучше, чем умереть так, как тебе хотелось.

Сидевшая на краю кровати мать не переставая гладила его ноги. Эта женщина, похожая на испуганную черепаху, сидела, глубоко втянув голову в плечи, и никак не реагировала на наш разговор. Мелкие черты плоского, безжизненного лица, до жути похожего на лицо покойного сына, расплылись, точно растаявшее желе. Давно уже я не видел лица, которое бы с такой силой выражало беспредельное отчаяние.

– Совсем как Сарудахико, – ни с того ни с сего сказала бабка.

«Сарудахико» – это слово, почему-то звучавшее для меня как народная шутка, вдруг наполнилось каким-то смыслом, хоть и смутным, но серое вещество у меня в голове от перенапряжения застыло, тихо дрожало, и эта дрожь, разрастаясь, не давала ухватиться за кончик раскручивающейся нити смысла. Я вертел головой, и слово «Сарудахико», смысл которого так и остался нераскрытым, точно гиря, погрузилось тогда в недра памяти.

Вот и сейчас, когда я, обняв собаку, сижу на дне ямы, в которой скопилось немного воды, у меня в голове, как дорогая сердцу добыча из золотой жилы памяти, всплыло слово «Сарудахико». Серое вещество, застывшее с того дня и не воспринимавшее ничего, что было связано с этим словом,

растаяло. Сарудахико, бог Сарудахико встречал на небесном перекрестке богов, сходящих с неба. Богиня Амэ-но-удзумэ, которая как их представитель вела дипломатические переговоры с Сарудахико, собрав обитателей моря, аборигенов вновь созданного мира, попыталась установить свое господство и ножом разверзала рты, «эти немые рты» сопротивляющихся молчанием трепангов. Наш добросердечный Сарудахико двадцатого века, выкрасивший голову в красный цвет, был, скорее, подобен трепангу, у которого разверзли рот. Стоило мне представить это, как на глаза навернулись слезы, потекли со щек на губы и упали на спину собаки.

За год до смерти товарищ прервал свои занятия в Колумбийском университете, вернулся на родину и тут же попал в санаторий из-за легкого психического расстройства. О местонахождении санатория и о жизни там я знал только с его собственных слов. Ни жена, ни мать, ни бабка ни разу у него не были. Он запретил навещать его. И, судя по тому, что произошло, начинаешь сомневаться, находился ли он в санатории.

Но если верить его словам, этот санаторий называют Учебным центром веселья или Тренировочным залом улыбок: те, кто там содержится, перед едой принимают огромные дозы успокоительного и поэтому днем и ночью пребывают в покое, лучезарно улыбаясь. Санаторий расположен в одноэтажном доме, половину которого занимает солярий. День почти все больные проводят на качелях, во множестве со-

оруженных в большом саду, и беседуют. Строго говоря, они даже и не больные, а, если можно так выразиться, отдыхающие, прибывшие на длительный срок. Благодаря успокоительному отдыхающие превращаются в самых тихих на свете существ наподобие домашних животных и проводят время в солярии или в саду, обмениваясь спокойными улыбками. Им разрешено выходить за пределы санатория, никто не чувствует себя под надзором, и поэтому никто оттуда не убегает.

Когда товарищ, пробыв неделю в Учебном центре веселья, вернулся, чтобы взять новые книги и переодеться, он рассказал, что приспособился к жизни в этом необычном месте гораздо быстрее и легче, чем любой из тихо улыбающихся больных, попавших туда до него. Но когда через три недели он снова приехал в Токио, хоть на его лице по-прежнему блуждала улыбка, он был печален. Вот что он откровенно рассказывал жене и мне. Санитар, раздающий больным успокоительное и еду, человек грубый и нередко проявляет жестокость к беззащитным больным, которые, приняв успокоительное, ни на что не реагируют. А этот санитар, проходя мимо, без всякого повода бьет их по животу.

Я предложил выразить протест руководству центра, но товарищ сказал, что директор, видимо, убежден, что мы либо врем от скуки, либо страдаем обычной манией преследования, а может быть, и то, и другое. И это верно – во всяком случае, на побережье, где находится санаторий, не найти людей, скучающих больше, чем мы, ну и, кроме того, ведь все

мы в той или иной степени душевнобольные. А тут еще успокоительное – мне и самому показалось, что я потерял способность раздражаться.

Дня через два после возвращения товарищ не выпил успокоительного во время завтрака, дневную и вечернюю порции тоже вылил в унитаз. На следующее утро он почувствовал, что по-настоящему зол, и тогда, подкараулив грубого санитара – товарищу, видно, тоже немало от него доставалось, – едва не убил его. Этим он снискал глубокое уважение тихо улыбающихся больных, но сам после разговора с директором вынужден был покинуть санаторий. Когда он, пожимая руки провожавшим его душевнобольным, которые, как обычно, до глупости добродушно улыбались, уезжал из Учебного центра веселья, он ощутил глубокую грусть, как никогда прежде.

«Я испытывал печаль, как Генри Миллер, который говорил (правда, я до сих пор не уверен, что это действительно слова Генри Миллера): „Я тоже пытался улыбаться вместе со всеми, но не мог. Я был безмерно печален, за всю свою жизнь я никогда не был так печален“. И это не просто слова. С тех пор меня восхищают и другие слова того же Миллера: „Разве не пребывают в радужном настроении, лишь когда все безразлично?..“»

С того момента, как товарищ покинул Учебный центр веселья, и до того, как он повесился голым, выкрасив голову в красный цвет, слова Миллера и в самом деле преследова-

ли его. «Разве не пребывают в радужном настроении, лишь когда все безразлично?!» Свои последние слишком быстро пролетевшие годы товарищ пребывал именно в радужном настроении. У него появились патологические сексуальные наклонности – бросился даже в такое безумство. Я об этом вспомнил в разговоре с женой, когда, обессиленный и опустошенный, после похорон возвратился домой. Жена, дожидаясь меня, в одиночестве тянула виски. В тот день я впервые увидел ее пьяной.

Вернувшись домой, я тут же прошел в комнату жены и сына. Тогда ребенок находился еще дома. Было уже поздно, но он не спал, лежал на кроватке и смотрел на меня своими карими, абсолютно ничего не выражающими глазами, смотрел спокойно, как смотрело бы растение, будь у него глаза, на человека, наблюдающего за ним. Жены в комнате не было. Потом я нашел ее в моем кабинете, в полной тьме, совершенно пьяную. Когда я увидел, как она, с трудом сохраняя равновесие, сидит, точно птица на качающейся ветке, на лесенке, стоявшей между книжными шкафами, то от непомерной растерянности испытал, скорее, стыд перед самим собой. Жена нашла бутылку виски, которую я держал в тайнике, выдолбленном сбоку лесенки, и, примостившись тут же, стала пить прямо из бутылки, медленно пьянея. На носу и верхней губе ее выступили капельки пота, она смотрела на меня, откинувшись назад, как заводная кукла, не в силах подняться на ноги. Глаза ее стали красными, как сливы, вы-

глядывавшие из кимоно шея и плечи покрылись гусиной кожей, всем своим видом она напоминала собаку, которую вырвало после того, как она инстинктивно наелась травы, чтобы унять боль в желудке.

– Ты не больна? – попытался я сострить.

– Нет, не больна, – ответила она насмешливо, сразу уловив мое замешательство.

– Значит, ты действительно напилась?

Я наклонился и увидел, что капелька пота, дрожавшая на верхней губе настороженно смотревшей на меня жены, скатилась вбок, следуя движению губы. Изо рта вырывалось тяжелое пьяное дыхание. Усталость, которую я принес с похорон товарища, разлилась по всему телу, и мне захотелось разрыдаться.

– Ты совсем пьяная.

– Да нет, не такая уж пьяная. Просто вспотела, но это от страха.

– Чего же ты боишься? Боишься за будущее ребенка?

– Мне страшно, что есть люди, которые способны покончить с собой, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола.

– Не этого тебе следует бояться.

– Может быть, и ты, Мицу, способен покончить с собой, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола, – вот отчего мне стало страшно. – Жена, не в силах преодолеть охвативший ее страх, опустила голову.

Дрожа всем телом, я вдруг увидел в волнах ее каштановых волос миниатюрный портрет самого себя, мертвого. Красная голова мертвого Мицусабуро Нэдокоро; кусочки плохо размешанной краски скопились за мочками ушей и кажутся застывшими каплями крови. Уши не накрашены, как и у покойного товарища, и это свидетельствует о том, что с момента, как был задуман такой странный способ самоубийства, и до его осуществления времени прошло совсем немного.

– Я не покончу с собой, у меня нет причины кончать с собой.

– А он что, был мазохистом?

– Почему ты спрашиваешь об этом на следующий день после его смерти? Из любопытства?

– Возможно, – подавленно ответила жена, уловив в моем хриплом голосе раздражение (причина которого, правда, была неясна и мне самому). – Видишь ли, если бы я знала, что у него была склонность ко всяким извращениям, я могла бы за тебя не бояться, правда?

Снова откинувшись назад, жена сочувственно посмотрела на меня. Отчаянная беспомощность ее необычно красных глаз привела меня в дрожь. Но она тут же прикрыла их веками и снова глотнула из бутылки. Ее припухшие верхние веки были черны, как грязные подушечки пальцев. Вдруг она закашлялась до слез, из уголков рта потекла слюна, смешанная с виски. А я, ничуть не тревожась, что жена испачкает только что купленное светлое шелковое кимоно, взял из ее

худой, жилистой, как у обезьяны, руки бутылку и тоже механически глотнул.

В своем мазохизме, да и в ненормальных сексуальных склонностях товарищ остановился на полпути. Это не были мелкие грешки, которым подвержен каждый, но в то же время и не были извращения столь глубокие, о которых никому не расскажешь. Товарищ посещал притон, где были патологически жестокие женщины, удовлетворявшие мазохистов. То, что произошло в первый день, не произвело на него особого впечатления. Но когда через три недели он пришел туда снова, огромная женщина, с виду полная идиотка, точно усвоив склонности товарища, заявила: «Теперь уж ты без меня не обойдешься». И потом, когда он, голый, лежа ничком, увидел около своего уха моток грубой веревки, то понял, что эта идиотка вошла в его мир как нечто реальное.

Я почувствовал, будто тело мое рассыпалось на мелкие кусочки, стало мягким и податливым, лишилось чувствительности. Зато дух мой, полностью отделившись от тела, парил в необозримой высоте.

Товарищ пристально смотрел на меня с удивительно мягкой, смущенной улыбкой…

Я выпил еще глоток виски и тоже закашлялся, как жена. Виски влилось в меня теплом. И мне вдруг непреодолимо захотелось сказать жене какую-нибудь гадость. Она сидела, опустив веки, такие темные, что их можно было принять за глаза, – это напоминало мимикрию мотылька.

Хоть я и не мазохист, как он, это не значит, что тебе нечего бояться. Вряд ли можно обрести покой, отличая его от меня только по этому признаку и считая, что я ни за что не покончу с собой, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола. Дело в том, что ненормальная сексуальная склонность – это еще далеко не все. Это не более чем упрятанное глубоко отклонение, порождающее различные странности. Ведь в человеческой душе скрыт огромный безумный импульс, которому трудно противиться, и он неожиданно вызывает отклонения от нормы, в данном случае мазохизм. И не пристрастие к мазохизму породило в товарище ненормальность, приведшую к самоубийству. Скорее наоборот. Может быть, и во мне посеяны семена неизлечимой душевной болезни…

Но всего этого я не сказал жене, и в извилинах моего усталого, отупевшего мозга такая мысль не пустила корней, хотя бы слабеньких, как у водорослей. Это лишь фантазия, которая, как пузырьки воздуха в стакане воды, вскипает и тут же исчезает. Такая фантазия, однажды промелькнув, ни на гран не обогащает человеческий опыт. Еще хуже, когда о ней умалчивают. Но самое разумное – переждать, пока такая нежелательная фантазия пройдет сама по себе, не повредив мозговых извилин. И если удается ее отогнать, уже одно это послужит уроком и позволит избежать яда фантазии, во всяком случае до следующего ее нашествия. Я молча подошел к жене сзади, взял ее под мышки и поставил на ноги. Мне показалось кощунством нечистыми руками, которыми я при-

касался к телу мертвеца, поддерживать загадочное, хрупкое тело живой женщины, матери, дающей жизнь в опасной напряженности. И все равно из этих двух тел, одинаково тяжелых для моих рук, тело мертвого товарища мне казалось более близким. Мы медленно направились в спальню, где лежал ребенок, но около туалетной комнаты жена вдруг уперлась, точно якорь бросила, и, как в воду, окунулась в царивший в уборной теплый полумрак летнего вечера. Она оставалась там долго. Когда же наконец вышла из тьмы, еще более сгустившейся, я отвел ее в спальню и, отказавшись от мысли раздеть, уложил в постель. Жена, глубоко вздохнув, точно выдохнула душу, впала в тяжелый сон. Вокруг губ поблескивала налипшая желтая пена, будто лепестки какого-то цветка.

Ребенок, по-прежнему широко открыв глаза, смотрит на меня, и я не в силах понять, чего он хочет: пить, есть или, может быть, ему нужно еще что-нибудь. Он лежит с открытыми, ничего не выражающими глазами, как растение в темной воде, и просто тихо существует. Он ничего не хочет, никак не выражает своих чувств. Даже не плачет. Временами начинаешь сомневаться, жив ли он. А что если жена весь день, пока меня не было, пила и совсем забросила ребенка? Сейчас это просто пьяная женщина, спящая глубоким сном. Осознание огромного горя глубоко потрясает меня. Но мне кажется кощунством прикоснуться к ребенку своими нечистыми руками, и я сникаю. Кроме того, мертвый товарищ пред-

ставляется мне даже ближе, чем ребенок. Ребенок, пока я смотрю на него, безотрывно таращит на меня свои совершенно бессмысленные глаза. Через некоторое время из глубины этих карих глаз хлынул сон, которому невозможно противиться, словно огромной приливной волне. Так и не принеся ребенку бутылочку молока, я устраиваюсь у его кроватки. Перед тем как уйти в небытие сна, я вдруг необычайно отчетливо осознаю весь ужас того, что меня окружает: товарищ, выкрасивший голову в красный цвет, уже кремирован, жена нежданно-негаданно напилась, ребенок – кретин. Не закрыв двери, не развязав галстука, как был в траурной одежде, которая касалась трупа, я втискиваюсь в узкую щель между кроватями жены и сына и пытаюсь заснуть. Прекратив всякие рассуждения, я превращаюсь в этот миг в наколотое на булавку бессильное насекомое. И я засыпаю, содрогаясь от чувства нависшей надо мной реальной угрозы, от чувства, что некое бестелесное существо пожирает меня всего.

На следующее утро я уже не мог четко восстановить ощущения прошлой ночи. И уж во всяком случае, уроком мне это не послужило.

Прошлым летом товарищ встретил в одной из нью-йоркских аптек моего младшего брата. Возвратившись в Японию, он многое рассказал мне о жизни брата в Америке.

Мой брат Такаси поехал в Америку как участник студенческого театрального коллектива, руководимого одной женщиной – членом парламента от правого крыла оппозицион-

ной партии. Этот театральный коллектив, можно сказать ренегатский, в который входили студенты, принимавшие участие в политических акциях в июне 1960 года, поставив покаянную пьесу «Наш собственный позор», как бы приносил извинение от имени раскаявшихся участников студенческого движения американским гражданам за то, что было сорвано посещение Японии их президентом. Такаси говорил мне, что присоединился к этому коллективу и отправляется с ним в Америку, но у него свой план: как только они прибудут в Америку, он сразу же сбежит и будет сам путешествовать по стране. Однако из статей о «Нашем собственном позоре», которые присылал, то ли с издевкой, то ли стыдясь, корреспондент одной из японских газет в Америке, я узнал, что Такаси вовсе не сбежал из театральной труппы, а все время выступал в «Нашем собственном позоре», который шел и в Вашингтоне, и в Бостоне, и в Нью-Йорке. Я пытался понять, почему же он, изменив свое первоначальное намерение, продолжает играть роль раскаявшегося участника студенческого движения, но мне не хватало воображения. Тогда я написал товарищу, который вместе с женой учился в университете в Нью-Йорке, письмо с просьбой сходить разок на спектакль, в котором участвует брат. Но товарищ все никак не мог собраться и встретился с ним совершенно случайно. Однажды, войдя в аптеку, на Бродвее, он увидел моего низкорослого брата, который, облокотившись о высокую стойку, пил лимонный сок, ни на кого не обращая внимания. Когда

товарищ, тихонько подкравшись, схватил его за плечо, тот, словно отпущенная пружина, так стремительно повернулся, что от неожиданности испугался сам товарищ. Такаси был какой-то грязно-потный, бледный, напряженный, будто его застигли врасплох в тот момент, когда он обдумывал план ограбления банка.

– Послушай, – начал товарищ, – из письма Мицу я узнал, что ты в Америке. Мицу женился, и его молодая жена уже беременна.

– Я не собираюсь жениться, не собираюсь, чтобы от меня беременели, – ответил Такаси, в голосе его еще чувствовалась растерянность.

– Ха-ха, – засмеялся товарищ, будто услышал остроумную шутку. – На следующей неделе я еду в Японию, ничего не хочешь передать Мицу?

– Но ведь и тебе, и жене нужно еще несколько лет учиться в Колумбийском университете?

– С этим покончено. Произошла неприятность, причем не внешнего характера, – с головой у меня неладно. Не в такой, разумеется, степени, чтобы ложиться в психиатрическую лечебницу, но нелишне какое-то время побыть в санатории.

Увидев, как на лице Такаси, точно влажное пятно, разрастается жестокий стыд, товарищ понял, почему внезапная судорога свела лицо Такаси, когда он неожиданно хлопнул его по плечу. Добросердечный, он не мог не ощутить угрызения совести. Товарищ коснулся еще не зажившей раны рас-

каявшегося участника студенческого движения. Они оба замолчали и стали рассматривать ряды широкогорлых бутылок, тесно составленных на полках за стойкой. Ряды широкогорлых бутылок, полных живительной золотистой влаги. Такаси и товарищ отражались в изогнутом стекле бутылок, и стоило им пошевельнуться, как их золотистые отражения, сильно раскачиваясь, готовы были запеть: «Америка! Америка!»

Поздней июньской ночью товарищ, так же как и Такаси, тогда еще не раскаявшийся участник студенческого движения, пришел к парламенту – правда, не столько из собственных политических убеждений, сколько из-за молодой жены, которая участвовала в небольшой демонстрации, организованной труппой театра Сингэки, и, когда началась драка, он, пытаясь защитить жену от вооруженных полицейских, получил удар дубинкой по голове. В хирургическом отношении рана была несерьезной, но после той ночи, пахшей молодой листвой, товарищ сильно изменился, и у него начались явления маниакально-депрессивного психоза. Естественно, что он был тем человеком, с которым меньше всего хотелось бы встречаться раскаявшемуся участнику студенческого движения.

Товарищ, приходя во все большее замешательство от молчания Такаси, продолжал смотреть на широкогорлые бутылки, и ему стало казаться, что его глаза, расплавленные жаром замешательства, превратившись в такую же золотистую жид-

кость, какая была в бутылках, вот-вот выплеснутся наружу. Ему вдруг почудилось, что его глаза, расплавленные в золотистую жидкость, как желток на поджаренный хлеб, вдруг упали на серебристую стойку, где плотно сдвинули потные голые локти американцы, и выходцы из Южной Европы, и англосаксы, и евреи. Жаркое нью-йоркское лето, рядом Такаси – причмокивая, он высосал через соломинку осадок в стакане с лимонным соком и, нахмурившись, смахнул пот со лба.

– Если хочешь передать что-нибудь Мицу… – вместо прощания сказал товарищ.

– Скажи, что я собираюсь бросить труппу. Если у меня это сорвется, то, наверное, вышлют – вот в чем дело. В общем, так или иначе, я больше не намерен оставаться в труппе – скажи ему об этом.

– Когда же ты от них уйдешь?

– Сегодня, – твердо ответил Такаси.

Напряжение, близкое к растерянности, в котором пребывал тогда брат, навело товарища на мысль, что Такаси чего-то ждет в этой аптеке. Смысл растерянности, отразившейся на лице брата, когда он подскочил, точно пружина, смысл его неожиданного молчания, смысл того, как он, причмокивая, тянул осадок лимонного сока, стали ему абсолютно ясными и, слившись в единую цепь, зажили своей собственной жизнью. В масленых, тупых глазах брата, наводящих на мысль, что он занимается реслингом, на мгновение всплыли

и тут же вновь утонули проблески чувства, и товарищ увидел в этом не скованность, проистекавшую оттого, что он встречался с плохими людьми, а нечто другое – скорее, чувство сострадания к нему, и он успокоился.

– Ждешь тайного связного, который поможет тебе бежать? – шутливо спросил товарищ.

– Сказать правду? – в тон ему произнес Такаси. – За тем шкафом с лекарствами фармацевт перекладывает в маленькую бутылочку таблетки, видишь? (Товарищ наклонился вслед за братом и за шкафом, прикрывающим фармацевта, точно броней, бесчисленным множеством бутылочек с лекарством, увидел поглощенного тонкой работой лысого мужчину.) Это для меня лекарство. Для моего penisa, который воспалился и причиняет нестерпимую боль! Если бы мне удалось без всяких хлопот заполучить вон тот большой флакон с лекарством, я бы давно сбежал от «Нашего собственного позора».

Товарищ заметил, что сидевших рядом американцев заставило насторожиться слово «penis», которое они уловили в непонятной им японской речи. Окружающий их мир чужой страны ожил.

– А разве так трудно получить это лекарство? – спросил товарищ с недоступным, высокомерным видом, как бы отвергая этим взгляды окружающих.

– Если пройти необходимые формальности и лечь в больницу… – ответил Такаси, равнодушный к невинному пси-

хологическому ухищрению товарища. – Но это почти невозможно, во всяком случае слишком хлопотно в этой самой Америке. То, что я сейчас передал фармацевту, – это рецепт, который мне удалось обманом достать у молодой медсестры-негритянки из отеля. Если о моей афере узнают, ее выгонят с работы, а меня вышлют из страны.

Почему Такаси не прошел необходимых формальностей? Дело в том, что он заразился гонореей, проведя свою первую ночь в Америке с проституткой-негритянкой, которая годилась ему в матери. И если бы это стало известно, добродетельная руководительница труппы немедленно отправила бы Такаси в Японию, из которой он с таким трудом вырвался. Кроме того, Такаси, опасаясь, что заразился еще и сифилисом, совсем пал духом, вместо того чтобы предпринять какие-то решительные шаги.

С тех пор как он посетил район, где тесно переплелись между собой негритянские кварталы и кварталы белых, прошло уже пять недель, но симптомы сифилиса пока не появились, а антибиотиками, которые он получал понемногу у руководительницы их театрального коллектива, сославшись на боль в горле, удалось умерить резь, и Такаси стал постепенно освобождаться от угнетенного состояния. Благодаря длительному пребыванию в Нью-Йорке (труппа сделала его своей опорной базой, совершая лишь короткие поездки в другие города) Такаси познакомился с медсестрой из отеля и получил у нее бланки рецептов. Девушка-негритянка, исполнен-

ная стремления услужить, не только вписала в рецепт название лекарства и дозировку, необходимую для лечения гонореи, но и указала аптеку на бойком месте, что почти исключало вероятность раскрытия подлога.

– Сначала я пытался рассказать медсестре, что со мной произошло, пользуясь абстрактными, расплывчатыми понятиями, пытался выразить, так сказать, свое объективное мнение по этому поводу, – рассказывал Такаси. – Казалось бы, совершенно неосновательно, но слово «penis», как правило, очень шокирует, и поэтому вначале я сообщил ей, что подозреваю у себя urethritis. Но девушка не поняла этого слова. Тогда я сказал, что болен inflamation of the urethra. И огонек понимания, засветившийся в ее глазах, уже нельзя было назвать абстрактным или неорганичным – она изо всех сил стала убеждать меня, что я не должен легко относиться к болезни. «Вы испытываете жжение?» – спросила она. Ее сочувствие буквально ошеломило меня, я ощутил, как все мое нутро загорелось пламенем. Ха-ха!

Вслед за Такаси рассмеялся и товарищ. Окружающие, прислушивавшиеся к отдельным знакомым им словам, которые употреблял Такаси, все подозрительнее смотрели на смеющихся. Из-за шкафа с лекарствами появился фармацевт с печальным потным лицом. Улыбка сразу же сползла с раскрасневшегося птичьего лица Такаси, на нем отразились одновременно надежда и тошнотворный страх, и товарищ, увидев это, тоже заволновался. Однако лысый фармацевт,

похожий на ирландца, сказал с сердечностью:

– Здесь много таблеток, и это будет стоить очень дорого. Может быть, возьмете треть?

– Ха-ха! Ну что вы, совсем не дорого в сравнении со жгучей болью, мучащей меня столько недель, – сказал Такаси, к которому моментально вернулась развязность.

– В ознаменование того, что перед тобой, Така, открывается в Америке новая жизнь, заплачу я, – решительно сказал товарищ.

Повеселевший Такаси некоторое время рассматривал бутылочку, полную сверкающих таблеток, изяществом напоминавших хрупких девочек, а потом сказал, что сегодня же заберет свои вещи из гостиницы и в одиночестве отправится путешествовать по Америке. Товарищ и Такаси, стремясь быстрее покинуть место преступления, вышли из аптеки и направились к ближайшей остановке автобуса.

– Ты действительно ужасно страдал, но теперь, когда все улажено, тебе, наверное, кажется незначительным до глупости то, что с тобой случилось, правда? – сказал товарищ, испытывая что-то вроде ревности к нежданной встрече бесконечно счастливого Такаси с таблетками в бутылочке.

– А разве не кажется случившееся незначительным до глупости, когда какое-то страдание устранено? – парировал Такаси. – Если после возвращения на родину и лечения в санатории ты выздоровеешь, разве не покажется тебе, что все это было незначительным до глупости?

– Только бы выздороветь! – воскликнул товарищ с надеждой. – Но если не выздоровлю, это «незначительное до глупости» ляжет тяжким бременем на всю мою жизнь.

– Что же все-таки происходит с твоей головой?

– Сам не пойму. Если выяснится и я справлюсь с этим, то начну, видимо, жалеть годы, потраченные впустую на эту незначительную до глупости штуку. Если же болезнь одолеет меня и превратится в бремя всей моей жизни, которое в конце концов уничтожит меня, тогда я, наверное, узнаю, что на самом деле со мной произошло. Конечно, для меня самого это уже не будет играть никакой роли. Человек, впавший в один из видов помешательства, не способен рассказать другим, что он постиг в своем до предела ограниченном мирке, – закончил он печально.

Такаси, казалось, проникся глубоким сочувствием к товарищу, но стремился как можно быстрее расстаться с ним. Товарищ понимал, что его мучения тронули сердце Такаси. Подошел автобус, Такаси сел в него и через окно протянул товарищу экземпляр брошюры, сказав, что это в благодарность за оплату лекарства, и отправился на другой конец огромного Американского континента. Товарищ, да и я сам с тех пор не имели никаких известий о брате. Он, как и обещал, по-видимому, сразу же покинул труппу и отправился путешествовать в одиночестве.

В такси товарищ раскрыл брошюру, которую дал ему Такаси. Это был документальный очерк о движении за граж-

данские права. На первой странице он увидел фотографию негра, похожего на грубо вырезанную из дерева куклу, оттого что все лицо его вспухло, оплыло и черты было не разобрать; негра тащили белые в форменной одежде. Фотография была отвратительна тем, что в ней соседствовали комизм и трагизм, она демонстрировала неприкрытую, грубую силу и этим захватывала смотревшего на нее человека, словно зловещий призрак. Призрак невольно напоминал снова, что ты раздавлен тяжким гнетом непреходящего, безысходного страха. В мироощущении товарища призрак сразу же легко, как сливаются две капли воды, соединился с душевной мукой от неведения, что происходит с его головой. И он подумал, что Такаси оставил ему брошюру с такой фотографией не случайно, что он коснулся его сокровенных мыслей.

– Уже потом я обратил внимание, – рассказывал товарищ, – что, помимо выхваченного сознательно, фотоаппарат запечатлел бессознательно и нечто случайное, оказавшееся не в фокусе. Увидев этот памятный кадр, в котором граница между светом и тенью была смазана, я вспомнил, что, когда я подкрадывался к Така, он пил лимонный сок, внимательно рассматривая именно эту фотографию. Така, видимо, мучительно думал тогда действительно об очень тягостных вещах. Он был погружен в размышления совсем не о неприятностях с рецептом, о которых он так подробно рассказывал, а о чем-то более значительном. «Ты думаешь, Така – человек, способный прийти в уныние от такого пустяка, как легкая вене-

рическая болезнь?» Когда он меня спросил: «Сказать правду?» – меня это страшно потрясло, и, я думаю, правда Така и то, что я услышал от него, диаметрально противоположны. Но что же это было на самом деле?

Сидя осенним рассветом на дне ямы с собакой на коленях, я не знал, что представляло собой нечто, разраставшееся день ото дня в голове товарища и в конце концов приведшее его к шутовской смерти, так же как не знал, что представляло собой нечто в голове брата, к которому товарищ смог хотя бы прикоснуться.

Смерть внезапно оборвала нить, которая привела бы к пониманию. Существует нечто, которое не может быть передано оставшимся в живых. А у оставшихся в живых возникает подозрение, которое становится все неотступнее, что покойник предпочел смерть, возможно, из-за этого непередаваемого нечто. И хотя это нечто, истинное содержание которого неизвестно, часто приводит оставшихся в живых к месту трагедии, но и тогда ее свидетелям ясно лишь, что вело их необъяснимое. Если бы мой товарищ, вместо того чтобы повеситься, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола, умер, например, через секунду после того, как прокричал что-то в телефонную трубку, может быть, это стало бы какой-то зацепкой. Конечно, если то, что он сделал – выкрасил голову, разделся догола и потом повесился, – представляло собой один из видов беззвучного крика. Но оставшиеся в живых этого крика все равно не услышат. Я не в силах

развивать эту эфемерную зацепку. И все же из оставшихся в живых именно мне легче, чем кому-нибудь другому, понять покойного товарища. Мы были с ним неразлучны с первого курса университета. Находили даже, что мы похожи, как близнецы.

Если говорить о внешности, то действительно товарищ был похож на меня даже больше, чем Такаси. Брат на меня совсем не похож. Мне даже кажется, что нечто, поселившееся в голове покойного товарища, для меня доступнее, чем нечто в голове Такаси, блуждавшего по Америке. Осенним вечером 1945 года одного из двух моих братьев, бывших на фронте, того, который вернулся домой, избили до смерти в корейском поселке, прилепившемся, точно нарост, у выхода из долины, где расположена наша деревня, и мужчинами в доме остались мы с Такаси, и тогда я услышал, как больная мать говорила нашей младшей сестре: «Эти двое совсем дети, и внешне они еще не сформировались, но, я думаю, Мицусабуро вырастет некрасивым, а Такаси станет красавцем и будет жить в довольстве, окруженный любовью. Я прошу тебя, не разлучайся с Такаси, а когда вырастешь, он станет для тебя надежной опорой».

После смерти матери сестра с братом воспитывались в доме дяди – все случилось, как хотела мать, но сестра покончила с собой, так и не успев стать взрослой. У нее не было ярко выраженных симптомов кретинизма, как у моего ребенка, она была умственно отсталой, очень чувствительной к

музыке, вернее, к каким-то определенным звукам, в общем, девушкой, которая, как и предвидела мать, не могла жить, не имея опоры…

Собака залаяла. Внешний мир оживает, охватив со всех сторон меня, сидящего на дне ямы. Правая ладонь, сложенная совком, скребет земляную стену, на колени уже упало несколько осколков кирпича, погребенных в слое глины, и собака, увертываясь от них, теснее прижимается к моей груди. А правая ладонь снова и снова скребет стену. Сверху заглядывает какой-то человек. Покрепче прижав собаку, я запрокидываю голову. Беспокойство собаки передается и мне, я испытываю настоящий животный страх. Утренние лучи мутны, как глаз, затянутый катарактой. Небо, которое на рассвете белело в вышине, сейчас потемнело и низко нависло. Если бы оба мои глаза видели, утренние лучи, возможно, богаче наполняли бы пейзаж (эта твердо усвоенная мысль, связанная с оптикой, часто посещает меня), но единственный оставшийся глаз огрубел и видит лишь обнаженное темное утро. Весь выпачканный, сидя в яме и оказавшись таким образом ниже уровня, на котором находится любой нормальный житель города, я ковыряю пальцами земляную стену. Меня мучат: снаружи – пронизывающий холод, изнутри – жгучий стыд. Заслоняя темное небо, темнее даже, чем само небо, загородив, точно падающая башня, отверстие ямы, вдруг появляется тень приземистого, широкоплечего человека. Он похож на вставшего в рост краба. Собака, по-моему,

взбесилась. Я испытываю страх и стыд. Точно град, рассыпается по дну ямы звук, будто разлетелось на бесчисленные осколки стекло. Изо всех сил напрягаю единственный глаз, пытаясь рассмотреть лицо великана, сверху, словно бог, глядящего в яму; и от стыда растерянно, глупо улыбаюсь.

– Как зовут собаку? – спрашивает великан.

Он произносит совсем не те слова, которых я боялся. Я спасен, вернувшись на почву будничности, и наконец, вздохнув с облегчением, успокаиваюсь. Этот человек, пожалуй, будет виновником скандала, который вот-вот разразится. Но это будет скандал, не выходящий за рамки будничности, а совсем не всепоглощающий скандал, которого секунду назад я боялся и стыдился. Не тот скандал, когда у человека, втянутого в него, от страха и стыда из каждой поры вылезает отвратительный жесткий волосок, как у пуделя, не тот скандал, когда, точно пружиной, отбрасывается все человеческое. Это будет интимный скандал, такой вспыхивает, когда застают с пожилой служанкой. И собака на моих коленях, почуяв, что ее защитник избежал опасности, связанной со странным нечто, притихла, как заяц.

– Что, выпили и свалились туда? – Мужчина похоронил мои действия на рассвете в убийственной будничности. – Утром туман-то был густой.

Повернувшись к нему, я осторожно киваю (он высится темной громадой, и, хотя еще серое утро, мое лицо должно выделяться) и, продолжая обнимать собаку, поднимаюсь. К

коленям, которые были до этого сухими, точно слезы, побежали капельки воды. Мужчина почему-то отошел на шаг, и теперь я вижу всю его фигуру. Это молодой разносчик молока в куртке, напоминающей спасательный жилет, в котором каждую воздушную трубку заполняет бутылка молока. Стоило ему вздохнуть, и вокруг него раздался звук трущихся друг о друга бутылок. Казалось, он дышит слишком тяжело. У него плоское лицо с приплюснутым носом, почти без переносицы, а глаза, как у человекообразной обезьяны, казалось, не имеют белков. И этими карими глазами он многозначительно смотрит на меня и глубоко вздыхает. Его дыхание кажется белой бородой, вьющейся у маленького подбородка. Боясь уловить в выражении его лица какой-то тайный смысл, я перевожу взгляд на краснолистый кизил позади него. Когда глаза твои на пять сантиметров выше уровня земли, то видна лишь отливающая красным обратная сторона листьев кизила. Цвет этот – угрожающе багровый и в то же время спокойно пламенеющий, как огонь на картине ада, которую я каждый год в день рождества Будды видел в нашем деревенском храме (ее пожертвовал прадед после печальных событий 1860 года). Получив у кизила знак, смысл которого был не совсем ясен, я сказал себе: «Ладно». Потом опустил собаку на перекопанную землю, где ярко-зеленая и вялая трава соседствовала с черной грязью. Собака радостно убежала, видно, все, что происходило с ней до этого, она терпела с трудом. Я стал осторожно подниматься по лестни-

це. Были слышны голоса по крайней мере трех видов птиц, гудки автомобилей. Если не быть внимательным, трясущиеся от холода ноги соскользнут с лестницы. Когда на поверхности земли появилась во весь рост моя дрожащая фигура в перепачканной пижаме в голубую полоску, разносчик молока отступил еще на шаг. Я почувствовал соблазн припугнуть его, но, конечно, не сделал этого, а вошел в кухню и сразу же захлопнул дверь.

– Я увидел вас в яме и принял за мертвеца! – точно оправдываясь, обиженно прокричал мне вслед разносчик, потому что я вошел в дом, даже не взглянув на него.

Возле комнаты жены я остановился и прислушался: спит ли она или уже проснулась? Потом снял пижаму и стал обтираться. Подумал было принять ванну и как следует смыть грязь, но поленился. В какой-то момент я утратил желание держать тело в чистоте. Я дрожу все сильнее. Полотенце стало черным, и тогда наконец я включил свет и как следует рассмотрел руки. Оказалось, что пальцы, которыми я ковырял земляную стену, ободрались и кровоточат. Я не стал искать йод, а просто обмотал их полотенцем и, продолжая дрожать, вернулся в свою одинокую спальню, одновременно служившую мне кабинетом. Дрожь не проходила: видно, поднялась температура. Нестерпимо болели не только пораненные пальцы – тупо ныло все тело. Это самая противная боль, которую я обычно испытываю на рассвете. Я вдруг понимаю, что, бессознательно выковыривая из земли оскол-

ки кирпича и разрушая земляную стену, я, видимо, пытался заживо похоронить себя. Дрожь и тупая боль становятся нестерпимыми. Наконец я хоть немного постиг смысл того, что испытывал, просыпаясь на рассвете в те дни, когда все тело распадалось на мелкие кусочки и каждый из этих кусочков тупо ныл.

2. Семья встречается снова

Во второй половине дня, когда пришла телеграмма, что брат неожиданно бросил свою бродячую жизнь в Америке и возвращается в Японию, мы с женой в аэропорту Ханэда встретились с его юными друзьями. Над Тихим океаном пронеслась буря, и самолет опаздывал. Тогда мы сняли номер в отеле аэропорта и стали ждать опаздывающий самолет. Жена, стараясь спрятать лицо в тень, села в низкое кресло спиной к окну с приоткрытыми пластмассовыми жалюзи (нельзя сказать, что жалюзи полностью задерживали лучи солнца, проникавшие снаружи, – в комнате, точно дым, которому некуда улетучиться, брезжил рассеянный свет) и тихонько потягивала виски. В левой руке, темной, как деревянный навес после дождя, она зажала высокий резной стакан, у ее ног, рядом с туфлями, стояли бутылка виски и ведерко со льдом. Виски жена захватила из дому и только лед купила в отеле.

Друзья брата сидели на застеленной кровати, тесно прижавшись друг к другу, точно звереныши в норе, и, обхватив колени, смотрели спортивную программу по транзисторному телевизору, пищавшему, как москит. С этими юнцами (Хосио и Момоко) я уже дважды встречался. Вскоре после того как брат, получив от товарища деньги на лекарство, исчез, эти двое пришли ко мне узнать его новый адрес. Через

несколько месяцев они снова пришли и потребовали денег, чтобы отправить ему кое-какие вещи: брат, видимо, сообщил о себе; во всяком случае, им, а не мне удалось установить с ним связь, но дать его адрес они отказались. На нас с женой никакого впечатления они не произвели, и лишь осознание, что они очень преданы брату и его отсутствие совсем выбило у них почву из-под ног, внушало к ним некоторое чувство благодарности.

Потягивая виски, которое в сумеречном свете комнаты казалось черным, я смотрел сквозь слегка приоткрытые жалюзи на огромное летное поле, где беспрерывно взлетали и садились неповоротливые реактивные самолеты, верткие – винтовые. Между взлетной полосой и комнатой, в которой мы укрылись, на уровне глаз перекинута эстакада из стали и бетона. По ней, опасливо пригибаясь, идут школьники, видимо, в аэропорт, на экскурсию. Когда стайка этих угрюмых, одинаково одетых карликов скрылась за поворотом эстакады, показалось, будто в мгновение ока взмыл в облачное небо самолет, бежавший по взлетной полосе. Стало както удивительно неуютно. Черные точки, вначале показавшиеся ботинками, свалившимися с ног школьников, на самом деле оказались голубями, и, когда они беспорядочно поднялись в воздух, на узкую дорожку, посыпанную сухим песком, неестественно, точно его подбили, сел голубь. Присмотревшись, я увидел, что у него перебито крыло. Видимо, поэтому он плохо летает, к тому же он слишком жирный и садиться

ему особенно трудно. Шея и грудь этого жирного голубя были темными, как кожа на руках моей жены. Неожиданно он взлетел (за звуконепроницаемым оконным стеклом, вероятно, раздался резкий звук, вспугнувший голубя, но в комнату не проник, и поэтому все происходящее снаружи казалось не связанным между собой) и, промелькнув в двадцати сантиметрах от меня черным пятном, как на карточке психологического теста, скрылся. Я отшатнулся, словно от удара. Неожиданно резкое движение явно встревожило жену, все еще державшую стакан с виски, и молодых людей, смотревших телевизор. Пришлось сглаживать неловкость:

– Как сильно опаздывает самолет – буря, видно, ужасная, правда?

– Кто знает, какая буря.

– Самолет, наверное, кидает из стороны в сторону, и брату очень страшно. Он ведь до ужаса боится физических страданий, а тем более гибели в авиационной катастрофе.

– Смерть при авиационной катастрофе мгновенна, так что физических страданий не испытаешь.

– Така ничего не боится, – вмешался в наш разговор Хосио с очень серьезным, сосредоточенным видом. Я заинтересовался – это были первые за весь день слова, которые он произнес, не считая приветствия.

– Така боится. Он принадлежит к людям, которые живут в вечном страхе. Это было, правда, еще в детстве. Он както поранил палец, и показалась крохотная капелька крови –

сотая миллиграмма, но его вырвало, и он потерял сознание.

Кровь появилась из ранки, когда я тихонько ткнул его острием ножа в средний палец правой руки. Брат похвалялся, что ему, мол, нипочем, если даже располосуют всю ладонь. Тогда я и решил припугнуть его. Он всегда утверждал, что не боится никакого насилия, никакого физического страдания и даже смерти, а я постоянно с ним спорил – это была своего рода игра. Брат же, забывая, что его можно проучить, страстно желал, хотя бы в игре, испытать себя.

– Из малюсенького пореза на кончике пальца вытекла капелька крови и застыла шариком величиной с глаз малька угря. И когда мы вдвоем смотрели на кровь, брата вдруг вырвало, и он потерял сознание, – рассказывал я подробности, которые должны были насмешить самоотверженную «гвардию» брата.

– Така не боится! Я сам видел, каким смелым был Така на июньской демонстрации. Така совсем не боялся.

Меня даже удивило, как примитивно и в то же время упорно он возражает. Жена тоже слушала, не сводя с него глаз. И я по-новому взглянул на юношу, который, выпрямившись, сидел на кровати и смотрел на меня. Внешне он был похож, если можно так сказать, на молодого крестьянина, недавно ушедшего из деревни.

Крупные черты лица, каждая в отдельности не безобразна, но, взятые вместе, удивительно непропорциональны, словно плохо подогнаны одна к другой, и поэтому его угрю-

мое лицо, точно прикрытое прозрачной сеткой, выглядит комично. И это типичное для крестьянских детей ничем не пробиваемое упорство. Парень в шерстяной полосатой куртке неопределенного цвета, вроде вялой зелени, изрядно помятой и потерявшей форму, – он похож в ней на огромную дохлую кошку.

– Така хотел стать жестоким человеком, для которого ничего не стоит совершить насилие, но дальше мелкого хулиганства не шел. Разве это имеет что-либо общее со смелостью? – попытался я прекратить спор, парировав возражения юноши и совсем не собираясь убеждать его. – А ты не выпьешь виски или водки?

– Я не пью! – ответил юноша слишком уж решительно, даже с подозрительным отвращением, и протестующе выставил руку. – Така сказал, что человек, употребляющий алкоголь, не в силах защитить себя, когда на него нападают. И если пьющий подерется с непьющим, то даже при равной силе и ловкости обязательно победит непьющий.

Я не стал настаивать и налил себе водки, а жене, которая, казалось, сгорала от любопытства, не посещавшего ее уже несколько месяцев, – виски. И мы, держа в руках каждый свое питье, будто связанные одной веревкой любители выпить, которые обязаны оказывать решительное сопротивление превосходству людей непьющих, смело встретили протестующую ладонь, которую выставил перед нами парень. Его короткопалая ладонь красноречиво свидетельствовала о

том, что он покинул деревню совсем недавно.

– Твой Така – правильный человек – это точно. Сегодня я впервые встречусь с ним, и я очень рада, что у меня такой правильный деверь.

Когда жена произнесла это, юноша, у которого даже и в мыслях не было, что пьяная женщина издевается над ним, приветливо помахал ей рукой, потом отвернулся от нас и стал смотреть неинтересную спортивную программу. Тихонько он уточнил счет игры у девушки, которая за все время нашего разговора не оторвала глаз от телевизора. А нам с женой не осталось ничего другого, как замолчать и снова погрузиться в питье.

Самолет все еще опаздывал. Казалось, что его опоздание будет длиться бесконечно. Уже наступила ночь, а он все еще не прилетел. Аэродром, на который я продолжаю смотреть сквозь приспущенные жалюзи, похож на чуть светящуюся теплым голубым и горячим оранжевым светом чашу, вырытую в грязно-молочном темном утесе города, ночь опустилась на края этой чаши и, кажется, навеки застынет там. Устав, мы погасили электричество, но телевизор, который все еще смотрели друзья брата, ожидая конца соревнований, хотя и не мог рассеять мрак, продолжал слабо мерцать – он превратился в единственный источник света в нашей комнате. Телевизор жужжит, как пчела, и я начинаю подозревать, не в голове ли это у меня шумит.

Жена стоит спиной к взлетной полосе с таким видом, буд-

то заранее отвергает любого, кто появится, распахнув воображаемые двери, и методично, глоток за глотком, пьет виски. Она обладает каким-то удивительным чувством меры, чуть ли не прибором, определяющим степень насыщенности алкоголем, и поэтому погружается лишь на определенную глубину опьянения, как разные рыбы – каждая живет на своей глубине, – но зато и протрезвляется лишь до определенного уровня. Путем самоанализа она установила, что это чувство, играющее роль автоматического предохранителя, унаследовано ею от матери, страдавшей алкоголизмом. Находясь в состоянии стабильного опьянения, она в определенный момент решает уснуть и моментально засыпает. Жена, у которой никогда не бывает тяжелого похмелья, начинает следующий день лишь с того момента, когда подворачивается удобный случай, чтобы снова впасть в состояние приятного опьянения. Я много раз говорил ей:

– Ты отличаешься от обычного алкоголика хотя бы тем, что можешь по собственному желанию контролировать степень опьянения и поддерживать его на определенном уровне, и, я думаю, через несколько недель пристрастие к алкоголю у тебя пройдет. Глупо связывать его с памятью о матери, объясняя наследственностью.

Но жена каждый раз отвергает мои построения:

– Именно моя способность по желанию контролировать степень опьянения и указывает на то, что я алкоголичка. Мать тоже была такой. Видишь ли, я останавливаюсь в нуж-

ный момент не потому, что стараюсь оградить себя от соблазна напиться сильнее, а потому, что боюсь выйти из приятного состояния.

Гонимая непрерывным страхом и отчаянием, жена погружается в пучину пьянства – она, точно раненая утка, нырнувшая в воду, прекрасно знает, что, стоит ей вынырнуть, ее тотчас же настигнет пуля охотника, и, даже пьянея, не может до конца освободиться от страха и отвращения. Когда жена пьяна, глаза ее наливаются кровью, и она считает, что наш несчастный ребенок родился таким именно из-за этого, уверена, что два эти факта неразрывно связаны между собой:

– В корейской сказке женщина с глазами, красными, как сливы, – это женщина-вампир, пожирающая людей.

В комнате стоит запах перегара, исходящий от жены. Мое обоняние, когда я немного протрезвел, точно улавливает, как удары пульса, каждый ее вздох. Отопление работает слишком сильно, и я, чтобы проветрить комнату, приоткрываю двойную раму; сквозь узкую щель, словно вихрь, врывается резкий вой реактивного самолета. Изо всех сил напрягаю свой единственный глаз, медленно реагирующий от перенапряжения, пытаясь перехватить самолет, должно быть идущий на посадку. Но успеваю заметить лишь два параллельных огонька, быстро удаляющихся во тьму, теперь еще более грязно-молочную. Поразило меня то, что это выли реактивные моторы взлетающего самолета. Я, правда, предполагал это, но все равно чувствую себя обманутым. Взлеты ре-

активных самолетов становятся все реже, кажется, что весь аэропорт скован параличом. Застывшая от страха ночь, залитая светом, от которого ей некуда укрыться. Стайка самолетов цвета сушеной рыбы, замерших в тепло-голубом и жарко-оранжевом хаосе.

Сидя в комнате, мы терпеливо ждем опаздывающий самолет. Я не говорю о «гвардии» брата, но для меня и жены его возвращение не имеет, казалось бы, особого значения, и тем не менее мы упорно ждем, как будто брат сообщит нам какой-то существеннейший стимул, способный возродить нас. Вскрикнув «а-а, а-а!», Момоко буквально подскакивает на кровати. До этого она, свернувшись калачиком, спала прямо на покрывале. Хосио, лежавший на полу, встает и подходит к кровати. Жена со стаканом виски в руках, поднявшая голову, точно норка, и я, растерянно стоящий спиной к жалюзи, бессильны помочь девушке, мучимой кошмарами, и при свете телевизионной трубки лишь смотрим на заострившееся от напряжения и ставшее похожим на перевернутый треугольник лицо Момоко, по которому катятся огромные, сверкающие, как капельки вазелина, слезы.

– Самолет упал, он горит, горит! – захлебывается слезами девушка.

– Не упал самолет, не плачь! – сердито басит юноша, будто стыдясь перед нами за плачущую девушку.

– Лето, лето! – вздохнула Момоко, рухнула на кровать, снова свернулась калачиком и отправилась в другой сон.

Воздух в комнате действительно летний. Руки потеют. Почему этим двоим, еще совсем детям, непременно, как ангел-хранитель, нужен брат и они даже во сне в эту долгую ночь напряженно ждут его? Неужели брат именно тот человек, который нужен их истосковавшимся в ожидании сердцам? И с чувством сострадания к юному другу брата я взываю к нему:

– Может, выпьешь хоть каплю виски?

– Нет, не пью я.

– Неужели до сих нор тебе не случалось выпить хоть каплю спиртного?

– Мне? Раньше, конечно, пил. Когда кончил школу и работал поденно. Три дня, бывало, работаешь, а на четвертый с утра до ночи хлещешь джин. По дороге поспишь немного; так напиваешься, что, спишь ли, не спишь ли, все равно пьяный-пьяный, а сны снятся приятные, – сказал юноша с неожиданной теплотой и, подойдя ко мне, прислонился к жалюзи, отчего они зашелестели. Потом на его лице впервые появилась улыбка, и глаза ярко заблестели, я почувствовал даже в темноте. Для него этот разговор полон, видимо, особого смысла.

– Почему же ты перестал пить?

– Потому что встретился с Така и Така сказал: «Больше не пей, жизнь нужно делать трезвым». Потому и бросил. И с тех пор ни одного сна не видел.

Такаси проявляет педагогические способности. Никогда

не замечал этого за ним. Брат авторитетно заявляет юноше: «Больше не пей, жизнь нужно делать трезвым». И этого достаточно, чтобы молодой рабочий перестроил свою сломанную жизнь. И юноша непринужденно, с улыбкой вспоминает об этом!

– Вот вы говорите, смелый Така, не смелый, – вернулся он к вечернему спору, видя, что разговор о спиртном привел меня в хорошее настроение. Еще когда он по-собачьи примостился на полу, видимо, все время с тревогой думал о том, как бы вернуть славу своему ангелу-хранителю. – Во время июньской демонстрации один лишь Така делал совсем не то, что делали другие. А вы об этом не знаете, потому и говорите так. – Хосио бросился в атаку, козыряя все новыми доказательствами, наклонился, глядя прямо на меня сверху вниз, и я ответил на взгляд, посмотрев с некоторым сомнением в его глаза, казавшиеся в темноте двумя шрамами. – Така присоединился к нападающим и жестоко избивал своих вчерашних и завтрашних друзей!

Юноша тихо, но с нескрываемой радостью, задорно рассмеялся. Тлевшую во мне ненависть точно снова разворошили палкой.

– Эта авантюра была не более чем капризом Така, ничем не оправданным бахвальством – вот что это было. И ничего общего со смелостью.

– Только из-за того, что у парламента избили вашего товарища, вы, услышав, что Така был среди тех, кто избивал

и сам размахивал дубинкой, теперь возненавидите его, – с неприкрытой враждебностью сказал юноша. – Потому-то вы и не хотите признавать смелости Така.

– Избил моего товарища полицейский. Така не мог этого сделать. Ты говоришь о разных вещах.

– Но ведь в темноте, да еще в такой свалке, разве разберешь, кто избивал, – съехидничал юноша.

– Все равно я не верю, что Така способен проломить кому-то череп, ударить человека так, чтобы тот сошел с ума и покончил с собой. Я ведь еще с детства помню, какой Така малодушный.

Сказав это, я сразу же утратил желание вести этот бесцельный спор. Я почувствовал усталость, почувствовал, как безотчетная злость, будто вылившись из больного зуба, оставила во рту очень противный привкус.

Ожили воспоминания об умершем друге, и я упрекнул себя: неужели вести спор с этим неоперившимся птенцом – самое главное, что должен сделать для покойного оставшийся в живых? Не значит ли это, что оставшийся в живых абсолютно ничего не способен сделать для покойного? После того, что, казалось бы, без всяких видимых причин произошло в последние месяцы: умер товарищ, начала пить жена, пришлось поместить в клинику ребенка, – после всего этого (а может быть, все это было связано с тем, что копилось во мне еще раньше) меня охватило совершенно отчетливое предчувствие, что я умру еще более бессмысленно и глупо,

чем товарищ. И те, кто останется в живых после меня, наверное, ничего разумного для меня, умершего, не сделают.

– Вы не понимаете Така, вы ничего не знаете о Така. Вы и правда совсем на него не похожи. Вы точно крыса. Зачем вы пришли сегодня встречать Така? – выкрикнул неожиданно душераздирающим, плачущим голосом юноша.

Я отвернулся, чтобы не видеть его жалкое, в слезах лицо, а он отошел от меня, прилег на кровати рядом с подругой и не произнес больше ни звука.

Я взял стоявшую у ног жены бутылку виски и бумажный стаканчик, который дают пассажирам, когда они покупают еду, и глотнул возбуждающей вонючей жидкости. Жена покупает только самое дешевое виски. Обжегши горло, я надолго закашлялся, словно чумная собака.

– Эй, крыса, чего ты всю ночь глазеешь на аэродром? Разговор есть, крыса, – невозмутимо окликнула меня жена, даже в опьянении сохранявшая ясность мыслей.

Осторожно держа в руках бутылку виски и бумажный стаканчик, я присел у ее ног.

– Если Така спросит о ребенке, что мы ему скажем?

– Наверное, лучше всего промолчать.

– Ладно, но, если Така спросит, почему я пью, снова промолчать не удастся, – сказала жена, которую опьянение делало удивительно логичной. – Правда, ответ на один из этих двух вопросов снимает необходимость отвечать на другой, так что проблема, казалось бы, упрощается.

– Совсем не упрощается. Если бы ты ясно сознавала причинно-следственную связь между этими двумя проблемами, ты бы преодолела и проблему ребенка, и проблему пьянства. Нового ребенка нужно зачать трезвой.

– Не пей, человек должен делать жизнь трезвым, – Така будет и меня поучать? Но у меня нет желания переучиваться, – сказала жена решительно. Я наполнил ее стакан виски. – А может, Така думает, что мы придем встречать его с ребенком?

– Брат не в том возрасте, когда уже начинают думать о детях. Он ведь и сам еще не вполне сформировался.

Мне показалось, что жена видит тень нашего ребенка между своим левым и моим правым коленом. Она поставила стакан на узкий подлокотник кресла, вытянула освободившуюся руку и сделала такое движение, будто гладит очертания толстенького, укутанного ребенка, – это усилило мою растерянность, безысходное негодование.

– Все равно я предчувствую, что Така в подарок привезет игрушечного медвежонка, и все мы окажемся в глупейшем положении.

– У него нет денег покупать игрушки. – Говоря это, я не мог не признать, что, как и жена, не стремившаяся рассказывать о несчастном ребенке деверю, с которым встречалась впервые, я тоже испытывал желание избежать этого.

– Что за человек – Така, чуткий или бесчувственный?

– Он сочетает в себе большую чуткость с поразительной

бесчувственностью. Во всяком случае, он не из тех людей, которые в твоем нынешнем положении особенно желательны как родственники, когда встречаешься с ними впервые, – сказал я, и тогда юноша, резко повернувшись на кровати, весь съежился и тихо крякнул, как раздавленная клецка. «Гвардия» Такаси собирается, видимо, возражать.

– Я не хочу, чтобы меня кто-то допрашивал, – перешла жена к самозащите, внезапно вспылив и тут же стихнув, точно мяч эмоции замер на высшей точке взлета.

– Конечно, с какой стати тебя будет кто-то допрашивать? И нечего тебе бояться Така. Просто ты напряжена оттого, что предстоит встреча с новым родственником. Да и нет ничего такого, чего ты должна бояться, и ты действительно сейчас совсем ничего не боишься.

Я пытался успокоить жену, опасаясь, что она начнет бесконечное падение по упрятанной в ней самой винтовой лестнице истерического самобичевания или самосострадания. Потом я снова наполнил ее стакан виски. Если жена не хочет сама заснуть, нужно заставить ее перешагнуть обычный для нее рубеж опьянения. Доказывать что-то жене, без сна, как привидение, блуждающей по ночам и способной внушить себе все что угодно, – это хуже любых физических страданий, будь то головная боль или колики в желудке. Жена пила, преодолевая позывы к рвоте. Напрягая слабый глаз, уставший бороться с темнотой, я пристально смотрю на ее отчужденное лицо, сосредоточенное на своем внутреннем мире. На-

конец она перешла рубеж. Суровые черты лица жены, лежавшей навзничь с закрытыми глазами, смягчились, лицо стало детским. Рука со стаканом плавает над коленями. И как только я забираю его, сухая, вся в черных прожилках рука, словно мертвая ласточка, падает на колени. Жена уже спит. Проглотив недопитое ею виски, я передергиваю плечами, зеваю и, следуя примеру юноши, укладываюсь прямо на полу (ты точно крыса), собираясь влезть в неустойчивую вагонетку сна.

Мне снится, что я стою на перекрестке широкой улицы, по которой ходят трамваи, и узкого переулка. За моей спиной снуют огромные толпы людей, и чужие тела, беспрерывно толкая меня в спину и в бока, исчезают. Судя по буйству листвы на деревьях, растущих вдоль тротуара, – конец лета. Это – безбрежное буйство, такое же, как в густом лесу, окружающем нашу деревню. Расстилающийся передо мной еще один мир, на который я, отвернувшись от оставшегося за моей спиной суетного мира, смотрю, будто прильнув лицом к поверхности воды и разглядывая дно, – этот мир пребывает в глубоком покое. Почему он так покоен? Потому что все люди, медленно идущие по тротуарам, – старики. Потому что люди в автомобилях, едущих по мостовой, – тоже старики, и люди, работающие в барах, аптеках, галантерейных, книжных магазинах, и их посетители – все старики. Потому что в парикмахерской на углу до горла закутанные в белые салфетки клиенты, отражающиеся в огромных зеркалах,

виднеющихся сквозь наполовину распахнутые венецианские окна, – все старики, парикмахеры – тоже старики. За исключением клиентов парикмахерской и самих парикмахеров, у всех стариков шляпы глубоко надвинуты на уши, они в черных одеждах, а на ногах у них – что-то напоминающее резиновые сапоги. Эти пребывающие в абсолютном покое старики вызывают у меня тягостное чувство, будят какие-то беспокойные воспоминания. Потом среди стариков, заполнивших улицу, я вдруг замечаю покойного товарища и нашего ребенка, помещенного в клинику, – они тоже в надвинутых на уши шляпах, в черных одеждах и в высоких сапогах. Они то появляются, то исчезают среди стариков, к тому же от остальных стариков почти не отличаются, и поэтому невозможно точно, раз и навсегда установить, какой из стариков – товарищ, какой – ребенок, но и сама эта неопределенность не является препятствием для моего чувственного восприятия. Безмолвные старики, запрудившие улицу, связаны со мной. Я испускаю вопль отчаяния, потому что какая-то неведомая сила не позволяет мне бежать в их мир.

«Я бросил вас!»

Но мой крик начал кружить вокруг меня, превратившись в бесчисленное эхо, и мне неясно, долетел он до мира стариков или нет. Старики медленно шествуют, тихо едут в машинах, старательно выбирают книги, застыли в зеркалах парикмахерской – и так навсегда, навсегда. Меня охватывает тоска, разрывающая все нутро. Почему же я их бросил? По-

тому что не я выкрасил голову в красный цвет и не меня кремировали вместо товарища, потому что не я превратился в забитого звереныша, брошенного в клинике вместо ребенка. Каким образом мне это стало ясно? Это стало абсолютно ясно из того, что я не существую на этой летней улице вместе с ними, как безмолвный старик в шляпе, надвинутой на уши, в черной одежде, в высоких сапогах.

«Я бросил вас!»

Я уже понимаю, что это сон, но это не облегчает моего угнетенного состояния, в которое повергают меня призраки тихих стариков. Реальнее всего я ощущаю именно их.

На мое плечо ложится тяжелая рука. Не отдавая себе еще отчета, от чего – от яркого ли света или от стыда, – я плотнее смежаю веки. Когда же я пересиливаю себя и открываю глаза, то вижу, что на меня пристально смотрит брат, похожий на охотника, в куртке с бобровым (или под бобра) воротником, в грубых брюках. Лицо его, дочерна загоревшее, отливает медью.

– Ну, – будит меня брат.

Поднявшись, я вижу на кровати, напротив себя, голую девушку, которая, склонившись, берет одежду темно-коричневого цвета. Девушка, на которой в разгар зимы нет ничего, кроме трусиков, одевается. За этим внимательно, точно стража, наблюдают моя жена и Хосио. Голая Момоко выглядит жалкой, точно ощипанный цыпленок, и я вместо чувственности вижу в ней осколок безжизненного хладнокро-

вия.

– Костюм индианки из дубленой кожи. Единственная вещь, купленная мною в Америке. Чтобы добыть деньги, пришлось продать кулон сестры.

– А, ничего, – я стараюсь скрыть огорчение из-за утраты единственной вещи, оставшейся на память о сестре.

– От этого кулона одно только беспокойство было, – сказал Такаси с таким видом, точно в самом деле освободился от хлопот, и, словно забавляясь, стал подгребать ногой к окну оставшиеся с ночи бутылку от виски, стаканы, грязную посуду от ужина, а потом подтянул до верха приспущенные жалюзи.

Утро. Под небом, обложенным тучами, разлит белесый слабый свет, на летном поле, подернутом дымкой тумана, плотной стаей, словно саранча, стоят самолеты. И здесь тоже, в несравненно большем, в колоссальном масштабе, я увидел безжизненное хладнокровие, обнаруженное в голой девушке, и убедился, что это состояние, вызванное и похмельем после вчерашней выпивки, и недосыпанием, гнездится, скорее, во мне самом.

Освещенная слабым светом, проникающим из окна, Момоко растерянно вертит головкой, торчащей из большого круглого ворота ее кожаного костюма. Он едва прикрывает ей зад – это ее, видимо, смущает. Однако лицо Момоко светится простодушной гордостью оттого, что подарок Такаси привез только ей. И хотя говорит она о своем кожаном ко-

стюме ворчливым тоном, слова ее звучат как песня нескрываемой радости:

– Моя кожа и эта кожа почему-то цепляются друг за друга. Какие шнурки в каких петлях завязывать, никак не могу разобраться, Така, очень уж много здесь их нашито. Индейский счет, наверное, бинарный? Потому-то они и могут так ловко управляться со всеми этими шнурками.

– К бинарному счету они не имеют никакого отношения, – радостно подхватывает юноша, неуклюже пытаясь прийти ей на помощь. – Продетые сквозь кожу шнурки, наверное, просто для украшения.

– Пусть для украшения, но не рви же их!

Моя жена, присоединившись к теплой компании, собравшейся вокруг индейского костюма, изо всех сил помогает одевать Момоко. Я поражен, обнаружив свою сегодняшнюю жену естественно слившейся с «гвардией» брата. Пока я смотрел свой горько-постыдный сон, сошедший с опоздавшего самолета Такаси каким-то колдовским способом сдружил мою жену с юнцами. Чувство беды, с которым еще вчера ночью была обручена жена и которым сумела заразить и меня, – сегодня лишь мое достояние.

– Ребенок страдает тяжелым мозговым заболеванием, и в конце концов пришлось поместить его в клинику.

– Я уже слышал об этом, – сказал брат печально, что меня даже немного утешило.

– Через пять недель мы поехали за ним, но даже за этот

короткий период ребенок настолько изменился, что ни я, ни жена не могли признать в нем своего сына. Он, естественно, тоже нас не признал. У него такой вид, будто над ним совершили что-то ужасное. Кажется, что он мертвее мертвого. Вот мы и вынуждены были оставить его там, – закончил я тихо, чтобы не услышала жена.

В выражении лица молча слушавшего меня брата неподдельная печаль, такая же, как в ту минуту, когда я проснулся; она звучала в его голосе, когда он сказал о нашем несчастном ребенке: «Я уже слышал об этом», и, не встречая противодействия, проникла в сокровенные уголки моих чувств. Я и не предполагал, что мой брат может испытывать такую глубокую печаль, свойственную зрелому человеку, и понял, что затронул в нем частицу того, что ему пришлось пережить в Америке.

– Ты и об этом слышал?

– Нет, не слышал. Но понял, что произошло нечто ужасное, – сказал брат тихо, еле шевеля губами.

– Ты слышал, что мой товарищ покончил с собой?

– Слышал. Он был несколько своеобразным, верно?

Я догадался, что Такаси уже знает подробности самоубийства. Я впервые услышал слова скорби по поводу смерти товарища от человека, который был для него почти посторонним.

– Я чувствую, что вокруг меня сейчас все дышит смертью.

– В таком случае, Мицу, ты должен вырваться из этого

круга и войти в сферу жизни. Иначе, Мицу, яд смерти пропитает тебя насквозь.

– Это ты в Америке стал фаталистом, а?

– Совершенно верно, – окончательно добил меня брат, разгадав, что своими словами я пытаюсь скрыть эхо, рожденное моей внутренней пустотой. – Но я и в детстве был таким, потом случайно выбросил свой фатализм, а теперь снова подобрал. Ты разве не помнишь, как мы с сестрой построили соломенную хижину и долго в ней жили? В то время мы старались уйти от духа смерти и вели новую жизнь. Ведь это случилось вскоре после того, как был убит наш брат.

Не поддакивая и не возражая, я смотрел на Такаси, и тогда в его глазах, устремленных на меня, появилось нечто сходное с недоверием и, разрастаясь, начало превращаться во что-то опасное, жестокое. Он всегда терял самообладание, когда что-либо напоминало ему о смерти сестры. И сейчас все осталось по-прежнему. И так же как внезапно ломается сталь, когда ее слишком сильно сгибают, в глазах Такаси в мгновение растаяла начавшая застывать вспышка.

Я вновь удивился:

– В конце концов сестра умерла, но очарование той новой жизни оставило свои ростки. Смерть сестры была, наверное, ради того, чтобы заставить меня жить дальше. Ведь лишь из-за того, что умерла сестра, дядя согласился отправить меня в университет в Токио. Если бы я остался жить в деревне с дядей, я бы умер с тоски. Но ты, Мицу, разве не понимаешь,

что должен немедленно начать новую жизнь, не то потом будет слишком поздно?

– Новую жизнь? Ну а где моя соломенная хижина? – пытался я отделаться от брата шуткой, но, откровенно говоря, слова «новая жизнь» не оставили меня равнодушным.

– Ну какую ты сейчас, Мицу, ведешь жизнь? – серьезно спросил Такаси, давая понять, что прекрасно видит мои колебания.

– Сразу же после смерти товарища я отказался от курса лекций, который мы читали вместе. В остальном ничего не изменилось.

После окончания филологического факультета я живу переводами книг о диких животных. Одна из них, о наблюдении за животными, была переиздана, и гонорар почти обеспечивает нам с женой прожиточный минимум.

Правда, расходы по дому и содержанию ребенка в клинике взял на себя отец жены. Теперь же, когда я оставил работу лектора, тестю придется, по всей вероятности, принять на себя и бремя наших повседневных расходов. Вначале я воспротивился даже тому, чтобы тесть купил нам дом, но с тех пор, как товарища не стало, меня нисколько не трогает, что жена пользуется помощью отца.

– Ну а как ты живешь? Настроение никуда не годное, да? Увидев, как ты, Мицу, спишь на грязном полу, я был буквально потрясен. А когда ты встал, оказалось, что и выражение лица, и голос у тебя совсем не такие, как раньше. Откро-

венно говоря, Мицу, ты опускаешься, катишься в пропасть.

– Смерть товарища действительно выбила меня из колеи. А тут еще с ребенком такое, – оправдывался я, отступая.

– Но не слишком ли долго это длится? – наседал на меня Такаси. – Если так будет продолжаться, на твоем, Мицу, лице застынет печать падения. В Нью-Йорке я встретился с японцем-философом, инвалидом, который живет отшельником; он приехал в Америку для изучения взглядов последователей Дьюи и в результате сам потерял веру в себя – вот так-то. Ты, Мицу, похож на него и лицом, и голосом, но особенно своим обликом, позицией.

– Твоя «гвардия» утверждает, что я точно крыса.

– Крыса? Прозвище философа тоже Крыса. Ты мне не веришь? – На лице Такаси появилась растерянная улыбка.

– Верю, – сказал я, краснея оттого, что в моем голосе явно прорезаются нотки жалости к себе.

Да, я, несомненно, похож на крысу, как и тот философ, потерявший веру в себя. После ста минут, проведенных на рассвете в свежевырытой выгребной яме, я все еще переживаю случившееся. Я сознаю, что опускаюсь физически и духовно и уклон, по которому я качусь вниз, явно ведет меня туда, где витает нечто еще более ужасное, чем дух смерти. И сейчас я угадываю смысл того, что проявилось вначале как беспричинная усталость всех частей тела, каждая из которых, казалось, живет самостоятельно. Духовную боль невозможно преодолеть, даже осознав ее. Наоборот, она все чаще

посещает меня. Жгучее чувство надежды теперь уже никогда не вернется.

– Нужно начать новую жизнь, Мицу, – повторил Такаси со всевозрастающей убежденностью.

– Хорошо бы начать новую жизнь, о которой ты говоришь, Така. Я тоже понимаю, что Мицу это необходимо, – сказала моя жена, глядя на нас сощурившись.

Момоко уже нарядилась, как маленькая индейская невеста, и даже на голову надела кожаные украшения. Жена помогла Момоко одеться и подошла к нам. Сейчас, даже при ярком утреннем свете, она совсем не выглядела уродливой.

– Я, безусловно, готов начать новую жизнь. Но где находится моя соломенная хижина? Вот в чем вопрос, – сказал я вполне искренне. Я буквально физически ощутил потребность в соломенной хижине, издающей свежий, живительный запах.

– Брось все свои дела в Токио, Мицу, и поедем со мной на Сикоку, а? Как начало новой жизни это неплохо! – Такаси, опасаясь, что я тут же, на месте, отвергну его предложение, стал изо всех сил соблазнять меня. – Ведь я только ради этого прилетел, и сейчас из-за разницы во времени у меня голова прямо раскалывается.

– Така, давай поедем на Сикоку в машине! Даже погрузив в нее вещи, мы втроем уместимся и не спеша доедем, а в дороге сможем по очереди спать на заднем сиденье. Я купил «ситроен», – вмешался в наш разговор юноша.

– Хоси эти два года работал в авторемонтной мастерской. Потом купил «ситроен», похожий больше на груду железного лома, сам, своими руками отремонтировал, и теперь он бегает! – поддержала товарища Момоко.

Юноша побагровел и сказал с искренним воодушевлением:

– В мастерской я уже предупредил, что ухожу. Когда от тебя, Така, пришло письмо и Момоко мне сказала, что ты приезжаешь, я в тот же день пошел к хозяину и заявил, что увольняюсь.

Услышав это, Такаси даже растерялся, но на лице его отразилось детски непосредственное удовольствие:

– Все потому, что вы еще совсем легкомысленные. Это ужасно.

– Объясни конкретно, Така, как ты представляешь себе новую жизнь на Сикоку? Будем усердно заниматься сельским хозяйством, как наши предки?

– В Америке Така работал переводчиком в группе японских туристов, приехавших познакомиться с деятельностью супермаркетов – огромных универмагов самообслуживания. Один из туристов заинтересовался его фамилией. Они разговорились, и оказалось, что этот человек – владелец универмагов на Сикоку, в вашем районе. Така узнал, что он богач, прибрал к рукам всю вашу местность и уже давно хочет купить амбар – одно из строений вашей родовой усадьбы, чтобы перевезти его в Токио и открыть в нем национальный

ресторан.

– В общем, появился новоиспеченный капиталист, который избавляет нас от обузы – от древнего деревянного привидения. И если ты, Мицу, согласен его продать, мы, я думаю, должны будем поехать туда, чтобы наблюдать за его разборкой. Кроме того, мне бы хотелось точнее порасспросить в деревне о том, что произошло между прадедом и его братом. Я приехал из Америки и для этого тоже.

Я не мог сразу же поверить в реальность плана брата. Даже если он и обнаружил в себе внезапно талант дельца, все равно он вряд ли сумеет продать старое, полуразрушенное деревенское строение современно мыслящему человеку, владельцу универмагов самообслуживания. Национальный ресторан? В этом неприглядном, построенном сто лет назад амбаре? Меня приятно поразило то, что брат заинтересовался разладом, происшедшим между нашим прадедом и его братом. Еще когда мы жили в деревне, незадолго перед тем, как разъехаться, Такаси кое-что услышал о скандале в нашей семье, случившемся чуть ли не сто лет назад.

«Наш прадед, чтобы погасить мятеж, убил своего младшего брата. Потом он съел кусочек мяса с его бедра. Сделал он это для того, чтобы доказать властям княжества свою непричастность к мятежу, поднятому братом», – дрожащим от страха голосом рассказывал Такаси.

Я тоже не знал правды об этом событии. Создавалось впечатление, особенно во время войны, что старики в деревне

избегают вспоминать о нем, да и наша семья старалась делать вид, что никакого скандала между братьями не было. Но я, чтобы избавить Такаси от страха, рассказал ему и о другой версии, которую мне удалось случайно подслушать.

Все было иначе. Наш прадед после восстания помог брату скрыться в лесу и бежать в Коти. И тот, переправившись морем в Токио, сменил имя и позднее стал выдающимся человеком. Во время революции Мэйдзи он не раз присылал прадеду письма. Но прадед это тщательно скрывал, и тогда люди состряпали ложь, которую ты и услышал. Почему прадед молчал? По вине брата в деревне было убито много народу, и прадед старался избежать гнева, который мог обрушиться на его семью.

– Ну ладно, поехали к нам. Там и обсудим план новой жизни, – предложил я, с удовлетворением вспоминая об огромном влиянии, которое я имел на брата в течение нескольких послевоенных лет.

– Ну что ж, хорошо. Ведь речь идет о том, что мы собираемся увезти из деревни амбар, в течение ста лет принадлежавший нашей семье, так что не мешает спокойно все обсудить.

– Вы поезжайте в такси, а я посажу в «ситроен» Така и Момо – и за вами, – сказал Хоси, пытаясь осторожно вытеснить меня с женой из их дружной, интимной компании.

– Прежде чем ехать, давайте выпьем по стаканчику, – предложила жена, совершенно освободившаяся от насторо-

женности по отношению к деверю, и неловко пнула ногой валявшуюся бутылку. Такаси сразу же ее поддержал:

– Есть бутылка беспошлинного виски – я купил ее в самолете.

– Ты теперь уже не трезвенник? – спросил я, намереваясь уничтожить идола в глазах его «гвардии».

– Если бы я в Америке хоть раз напился до потери сознания, меня бы где-нибудь в темноте непременно пристукнули. Какой из меня пьяница, ты ведь знаешь, Мицу? – Говоря это, Такаси вынул из чемодана бутылку виски. – Эту бутылку я припас специально для брата и невестки.

– Пока я спал, вы, кажется, успели прийти к полному взаимопониманию.

– У нас для этого было достаточно времени. Ведь ты, Мицу, всегда видишь такие длинные и грустные сны, – парировал мою насмешку Такаси.

– Я что-нибудь говорил во сне? – испугался я.

– Не думаю, что ты, Мицу, можешь причинить человеку зло. Никто не поверит, что ты способен на это. В отличие от прадеда, ты принадлежишь к людям, которые не могут совершить жестокость, – успокоил меня Такаси, видя, как я растерян.

Взяв у жены бутылку виски, из которой она уже отхлебнула, я тоже сделал глоток, пытаясь преодолеть смущение.

– Ладно, пошли к машине, Хоси!

И, следуя сигналу Момоко, которая, надев кожаный ин-

дейский костюм, кипела задором и радостью, наша воссоединившаяся семья двинулась к выходу. Как старший, замыкая шествие, я, внешне опустившийся человек, похожий на крысу, понял, что в конце концов покорно соглашусь на весьма сомнительное предприятие брата. Я почувствовал, что теряю силу сопротивления. Сознавая это, я хотел, чтобы жар от глотка виски, внезапно разлившись во мне, сомкнулся со жгучим чувством надежды. Но мешало проснувшееся сознание, предугадавшее неисчислимые опасности, таящиеся в том, что я, отдавшись этому чувству, пытался возродиться, отказавшись от самого себя.

3. Мощь леса

Автобус резко останавливается посреди леса. Впечатление, что произошла авария. Поддержав чуть не скатившуюся на пол жену, спавшую на заднем сиденье, до половины закутавшись в одеяло, как мумия, и водворяя ее на место, я испугался, представив себе, что могло случиться с ней, если бы так противоестественно прервали ее сон. Перед автобусом, преграждая ему путь, стоит молодая крестьянка с огромным тюком за плечами, у ее ног примостился какой-то зверек. Присмотревшись, я неожиданно для себя обнаруживаю, что это ребенок, его голый зад и желтая кучка, необычайно яркая на фоне темного леса, отчетливо видны. Лесная дорога, зажатая с двух сторон рядами огромных вечнозеленых деревьев, отсюда резко идет под уклон, и поэтому кажется, что и крестьянка, и ребенок у ее ног парят в воздухе, сантиметрах в тридцати от автобуса. Я смотрю, инстинктивно подавшись влево. Меня охватывает чувство огромной опасности, и я готов к тому, что из-за погруженного во тьму утеса, каким видит окружающее поврежденный правый глаз, внезапно выскочит и нападет на меня невообразимо страшное чудовище. Ребенок все еще сидит на корточках. Я сочувствую ему, и меня, так же как и его, охватывает нетерпение, страх, стыд. Над лесной дорогой, стиснутой стенами темных густых зарослей вечнозеленых деревьев и бегущей точно по дну глубо-

кого ущелья, протянулась узкая полоса зимнего неба. Послеполуденное небо медленно струится, бледнея, точно меняющий цвет поток. Вечереет, небо прикрывает огромный лес, как раковина – моллюска. Становится страшно при мысли, что ты заживо погребен. Хоть я и вырос в лесу, каждый раз, возвращаясь через лес в свою деревню, не могу отделаться от этого гнетущего состояния. Это захватывающее дух состояние передается из поколения в поколение от давно ушедших предков. Преследуемые могущественным Тёсокабэ, они уходили все дальше и дальше в леса и наконец, найдя веретенообразную долину, которой чудом удалось устоять под натиском леса, поселились в ней. В долине били ключи великолепной воды. И ощущение, которое испытал первый мужчина нашего рода, встав во главе небольшой группы беглецов, когда в поисках долины, нарисованной силой его воображения, вступил во мрак девственного леса, передалось сейчас мне. Тёсокабэ – страшный великан, человек из чужого мира – существует везде и во все времена. Когда я не слушался, бабушка пугала меня: вот придет из леса Тёсокабэ, и раскаты его голоса, будто страшный великан Тёсокабэ жив и поныне, слышал не только я, мальчишка, но и сама восьмидесятилетняя бабушка…

Автобус от ближайшего к нашей деревне города, где мы садились, шел уже пять часов. На перевале все пассажиры, кроме нас с женой, пересели в другой автобус, идущий к морскому побережью. Наша дорога врезается в самую чащу

леса, достигает долины, бежит вниз по течению реки, берущей начало в этой долине, потом снова сливается с шоссе, которое соединяет перевал с морским побережьем, и вот теперь она приходит в запустение. Стоит только подумать, что дорога в лесной чаще, по которой мы едем, приходит в запустение, и сердце прокалывает острая боль. Мрачный зеленый лес, кажущийся совсем черным из-за огромных криптомерий, сосен и кипарисов, пристально смотрит на нас, крыс, пойманных разбитой дорогой.

Я увидел только резкое движение губ крестьянки, подавшейся назад под тяжестью огромного тюка, она что-то говорила, опустив голову. Ребенок встает и, поспешно натягивая штанишки, оглядывается на то, что сделал, едва не вступив в кучку ногой. Крестьянка стремительно дает ему подзатыльник. Потом, грубо подталкивая ребенка, охватившего руками голову, чтобы уберечься от нового удара, идет с ним к автобусу. Взяв пассажиров, автобус снова движется в угрожающем безмолвии леса. Крестьянка и ребенок прошли в самый конец и расположились на сиденье перед нами. Мать села у окна, ребенок – с краю, у прохода, обхватив деревянный подлокотник, и в поле нашего зрения оказались его стриженая голова и профиль обтянутого бледной кожей лица. Жена внимательно посмотрела на мальчика красными, как сливы, глазами, в которых еще видны были следы опьянения. Ребенок привлек и мой неприязненный взгляд. И голова его, и цвет лица воскресили самые тягостные воспо-

минания. Стриженая голова, лицо без кровинки полны яда, способного довести до безумия, особенно такого человека, как жена, чьи восприятия перенасыщены, и достаточно лишь небольшого толчка, чтобы они начали выпадать в кристаллы. Вид его сразу же возвращает нас к тому дню, когда нашему ребенку удалили опухоль на голове.

В то утро мы с женой ждали у лифта для больных на этаже, где находилась операционная. Наконец двери открылись, и мы увидели металлическую кабину; внутренняя дверь из голубой проволочной сетки не поддавалась, сестра никак не могла открыть ее.

«Мальчик не хочет, чтобы его оперировали», – сказала жена и откинулась назад, будто в страхе пытаясь убежать и в то же время стараясь, насколько возможно, рассмотреть, что происходит за сетчатой дверью.

Сквозь голубую сетку в голубоватом мраке, словно летом, в тени деревьев, видна бритая, точно у преступника, голова ребенка, лежащего на кровати с колесиками. Безжизненно-белая, точно присыпанная мукой кожа, веки плотно сжаты и похожи на складки. Когда я, встав на цыпочки, взглянул на его голову, беспомощность, безжизненность исчезли, опухоль же, налитая яркой кровью и мозговой жидкостью, прилепившись к голове ребенка, жила энергично, упорно. Опухоль преобладала над всем. И хотя она всего лишь часть организма, тем не менее заставляет почувствовать ее необъяснимую, неподвластную организму силу. Кто знает, может

быть, я и жена – супруги, породившие ребенка и опухоль, наделенную неподвластной организму силой, – проснувшись однажды утром, обнаружим, что на наших головах появились полные жизни наросты и между мозгом и опухолями быстро и энергично циркулирует, нескончаемо обновляясь, огромное количество мозговой жидкости. И тогда мы тоже с бритыми головами, как у преступников, направимся, наверное, в операционную. Сестра решительно ударяет ногой по сетчатой двери. От толчка ребенок широко раскрывает темно-красный, как рана, беззубый рот и начинает плакать. В то время он еще был способен на самовыражение с помощью плача.

«Врач сказал: «Мы вернем вам ребенка», – но, мне кажется, вернет он нам удаленную опухоль», – тяжело вздохнув, сказала жена, когда сестра с кроваткой, где лежал ребенок, скрылась за тяжелой дверью операционной.

Тогда я понял, что жена гораздо отчетливее, чем бледный, тихо лежащий с закрытыми глазами ребенок, почувствовала реальность существования налитой кровью опухоли. Операция длилась десять часов. Из нас двоих, безумно уставших от ожидания, одного меня три раза приглашали в операционную, чтобы перелить кровь ребенку. Во время последнего переливания, когда я увидел голову ребенка, залитую и его собственной, и моей кровью, мне показалось, что она варится в кипящем мясном бульоне. В моем мозгу, отупевшем от потери крови, удаление опухоли у ребенка запечатлелось

как удаление чего-то у меня самого, и я по-настоящему ощутил острую боль. Мне с трудом удалось подавить желание спросить терпеливо оперировавших врачей: не лишаете ли вы сейчас меня и моего сына чего-то действительно важного? И вот ребенок вернулся к нам существом, единственная человеческая реакция которого – спокойно смотреть на нас своими карими глазами, и я почувствовал, что у меня удалили какой-то нервный узел и беспредельная тупость стала моим неотъемлемым качеством. Причем ущерб, который нанесло это удаление, был ясен не только самому ребенку и мне, но еще отчетливее его осознавала жена.

Когда автобус въехал в лес, жена притихла, время от времени прикладываясь к плоской бутылке виски. В глазах пассажиров – местных жителей строгих правил – это носило скандальный характер, но у меня не было желания удерживать ее. Однако, перед тем как заснуть, жена приняла решение начать новую жизнь в деревне трезвой и выбросила бутылку с остатками виски. Я тоже надеялся, что опьянение, усыпившее жену, будет последним в ее жизни. Но теперь, когда я увидел, с каким чувством налитые кровью глаза проснувшейся жены смотрят на голову крестьянского мальчика, я отбросил радужную надежду, что она сможет начать новую, трезвую жизнь.

Я желал только одного: чтобы потрясение, пережитое женой из-за несчастья с нашим ребенком, не обострилось сейчас особенно тяжело, но убедился, что желание мое не сбы-

лось. Дыхание жены становилось прерывистым и хриплым. Она, видимо, уже жалела, что выбросила виски.

Кондукторша, выпятив для равновесия живот, проходит в конец автобуса. Молодая крестьянка, игнорируя ее, смотрит в окно, сурово сдвинув брови. Ребенок тоже не реагирует на кондукторшу, но, наблюдая за ним, я вижу, что он напрягается все сильнее. Видимо, крестьянка и ребенок сели рядом с нами, чтобы быть подальше от кондукторши.

– Билеты, – напоминает она.

Сначала крестьянка оставляет без внимания этот призыв, но вдруг разражается потоком слов. Она возмущается требованием оплатить проезд от перевала до долины. Они с ребенком прошли две трети расстояния от перевала. Если бы ребенок не занемог животом (говоря это, крестьянка трясет за плечо ребенка, ухватившегося за деревянный подлокотник), они бы и пешком дошли. Кондукторша объясняет, что новая минимальная плата за проезд установлена именно за расстояние от перевала до долины. Поскольку линия эта не загружена, автобусная компания разработала новое положение. Логика кондукторши, казалось, подавила крестьянку. Вдруг на ее румяном, до этого сердитом лице появляется хитрая улыбка; слова ее поразили и в то же время рассмешили меня. Крестьянка захихикала и сказала с облегчением:

– Нет денег.

Ребенок по-прежнему сидит бледный, напряженный. Кондукторша отступает, снова превратившись в беспомощную

деревенскую девушку, и идет к водителю советоваться. Я надеюсь, что хихиканье крестьянки растопит напряжение, в котором пребываем мы с женой. Повернувшись к ней, я улыбаюсь, но вижу, что у жены вся шея покрыта гусиной кожей, глаза, обращенные к мальчику, сверкают, точно излучая жар. Поняв, что надвигается беда, я теряюсь. Внутри у меня все клокочет, будто одна за другой взрываются шутихи. Почему я не остановил жену, когда она выбрасывала бутылку с виски? И я принимаю первое пришедшее на ум решение.

– Сойдем с автобуса. Така должен ждать нас на остановке, и мы попросим кондукторшу передать ему, чтобы он выехал на машине нам навстречу.

Жена вяло, точно водолаз, преодолевающий сопротивление воды, наклонив голову, с сомнением смотрит на меня. Я чувствую, что она колеблется между гнездящимся в ней страхом и страхом от сознания, что ее выведут из автобуса посреди леса. Страх перед лесом все возрастает, и я, не дожидаясь, чтобы он окончательно пригвоздил ее к сиденью, смотрю как бы со стороны на себя, стремящегося уговорить жену, и вижу, что я и сам хочу как можно быстрее бежать от этого крестьянского мальчика с бритой головой и синевато-бледной кожей – точной копии нашего ребенка.

– А что, если телеграмма не дошла и Така с друзьями не придут нас встречать?

– Даже если нам придется идти пешком, к ночи дойдем до деревни. Смотри, ведь даже этот ребенок собирался идти

пешком, – сказал я.

– Тогда я согласна, сойдем, – сказала жена, точно ухватившись за соломинку, хотя беспокойство ее еще не улеглось. Я почувствовал облегчение и жалость к ней. Кондукторша, неумолчно разговаривая с водителем, продолжала посматривать на крестьянку с сыном, якобы не имевших денег на проезд. Я сделал ей знак.

– На автобусной остановке в долине нас должен встречать мой брат. Вы не можете передать ему багаж и сказать, чтобы он ехал нам навстречу? Мы хотим дальше идти пешком, – сказал я.

Но когда кондукторша посмотрела на меня своими тупо-подозрительными, точно заплывшими жиром глазками, я растерялся, поняв, что мне не удалось придумать причину, достаточно убедительную для посторонних.

– Меня укачало в автобусе, – быстро пришла на помощь жена, но кондукторша продолжала подозрительно смотреть на нас. И, не принимая моих объяснений, пыталась сделать вид, что все понимает.

– Автобус до деревни не идет – паводком снесло мост, – сказала она.

– Паводком? Зимой паводок?

– Еще летом паводком снесло.

– И с лета он так и стоит разрушенный?

– По эту сторону моста новая остановка, до нее автобус и доходит.

– Значит, там нас брат и ждет. Зовут его Нэдокоро, – сказал я. – Однако почему же до зимы не починили мост, который снесло еще летним паводком?

– Поняла я, приедут за вами на машине, – вмешалась крестьянка, прислушивавшаяся к нашему разговору, – если их там нет, на остановке, мой мальчишка сбегает к Нэдокоро в Кураясики!

Крестьянка по ошибке считает Кураясики названием возвышенности, где стоит наш дом. Ту же ошибку совершали двадцать лет назад мои товарищи по играм. На самом же деле кураясики – амбар в нашей усадьбе. Таких теперь не строят. Но так или иначе, я успокаиваюсь. Если нам придется до вечера идти по лесу, такое испытание, несомненно, прочно посеет в сердце жены новые семена тревоги. А с наступлением ночи поднимется туман, и непроглядно-черный лес погрузит ее в совсем уж беспробудный страх.

Из заднего окна удалявшегося автобуса, покинувшего нас на лесной дороге, прильнув головой к голове, на нас смотрели крестьянка и кондукторша. Сын крестьянки, наверное, по-прежнему сидит, бледный, ухватившись за деревянный поручень, и даже не хочет выглянуть в окно. Когда мы поклонились им, кондукторша приветливо помахала рукой, а крестьянка, продолжая улыбаться, непристойно сложила пальцы и погрозила нам. От злости и стыда я покраснел, оскорбленная жена, наоборот, всем своим видом показывала, что с ее плеч свалилась тяжесть. Женой владеет потребность в са-

моистязании, берущая начало в бескрайней области психологии. В какой-то степени эта ее потребность, видимо, была удовлетворена молодой матерью, живущей бок о бок со своим тихим ребенком, бритоголовым, с дряблой кожей, точной копией нашего. Запахнув пальто, мы идем по прорезанной в красноземе лесной дороге, устланной опавшими листьями, и в лицо нам дует сырой, холодный, наполненный бесчисленными запахами ветер. Каждый раз, когда мы пинаем ногами листья, открывается голая земля, напоминающая блестящее красное брюшко тритона. Я сейчас, не то что в детстве, боюсь даже красной земли. Превратившись в человека трусливого и подозрительного, «точно крыса», я снова восстанавливаю свои прерванные связи с лесом, и потому, совершенно естественно, глаза леса смотрят на меня недоверчиво. Я ощутил это как-то очень остро, и, когда стая птиц с криком стремительно проносилась высоко над громадными деревьями, мне показалось, что ноги мои увязают в красноземе.

– Почему же Така не сказал, когда мы говорили по телефону, что мост снесло паводком?

– Така нужно было сказать очень многое, верно? Он ведь рассказывал о таких потрясающих событиях – и нет ничего удивительного, что ему было не до того, чтобы говорить о ремонте моста, – защищала Такаси жена.

Такаси отправился в деревню за две недели до нас. Со своей «гвардией» он совершил долгое путешествие в «ситроене». Днем и ночью Такаси и Хосио, по очереди ведя по-

чти безостановочно машину, – исключая один час, когда они погрузили ее на паром, переправивший их на Сикоку, – за три дня добрались до деревни. Мы с женой услышали от Такаси, позвонившего нам с почты по междугородному телефону, потрясающую новость, которая, едва успел он приехать в деревню, произвела на него огромное впечатление. Новость касалась случившегося с немолодой крестьянкой по имени Дзин, которая присматривала за нашей усадьбой; ей было разрешено обрабатывать оставшийся у нас клочок земли. Когда родился Такаси, Дзин взяли к нам в няньки. С тех пор она так и осталась в нашем доме. И, выйдя замуж, продолжала жить у нас с мужем и детьми.

Когда Такаси и его друзья остановили машину в самом центре деревни, на площади перед сельской управой, и с вещами на плечах стали подниматься по узкой, крутой, мощенной камнями дорожке, ведущей к нашему дому, им навстречу выбежали, запыхавшись, муж и сыновья Дзин. Их худоба и болезненно-серая кожа привели в ужас Такаси и его друзей, особенно их поразили сыновья – с огромными рыбьими глазами, они напоминали Такаси детей бедняков в Латинской Америке. И эти немощные на вид сыновья Дзин выхватили у них вещи и поволокли наверх. А грустный муж заунывным голосом, который мог показаться и сердитым, пытался что-то втолковать Такаси. Он сильно робел, и Такаси понял лишь одно: до того как он встретится с Дзин, ее муж хочет объяснить ему, что с ней случилось. Он как бы нехо-

тя вынул из кармана сложенную вчетверо вырезку из местной газеты и показал Такаси. На грязном, потертом на сгибах клочке бумаги виднелась большая фотография, несомненно нарушившая в тот день верстку газетной полосы. Взглянув на фотографию, Такаси поразился. В правой ее половине фотоаппарат запечатлел застывших в напряженной позе, точно на свадебной фотографии, изможденных домочадцев Дзин в летней одежде. Всю левую половину занимала огромная, толстая Дзин. Она полулежала в пестром платье, опираясь на левую руку. Все на снимке, включая и ее, смотрели прямо перед собой печально-терпеливо и настороженно.

> Крестьянка, страдающая обжорством. Желудок требует пищи целый день. Работай, муж, работай.
>
> Недавно стало известно, что в нашей префектуре живет самая крупная женщина Японии. Самая крупная женщина Японии – Дзин Канаки, проживающая в деревне Окубо, находящейся в лесном районе на юго-востоке нашей префектуры. Замужняя, 45 лет, мать четверых детей. Ее рост – 1 м 53 см – обычный, но необычен вес – 132 кг. Бюст – 1 м 20 см, талия – 1 м 20 см, толщина руки – 42 см. Дзин-сан не всегда была такой толстой. Шесть лет назад она весила 43 кг, и ее можно было назвать худой. Трагедия началась шесть лет назад. Дзин-сан вдруг почувствовала в руках и ногах конвульсии и потеряла сознание. Через несколько часов она пришла в себя, но с тех пор ее преследует чувство непреходящего, неутолимого голода. Организм ее не

может нормально функционировать, если рот ее пуст. Когда еда хоть чуть запаздывает, она начинает громко рыдать, ее охватывает дрожь и в довершение ко всему она теряет сознание.

Сейчас Дзин ест через каждый час. Встав утром, она прежде всего съедает полный горшок вареных овощей, батата и вареного риса с ячменем. Потом до полудня ест гречневые или лапшовые пампушки; в полдень – обед, такой же, как завтрак; до ужина каждый час – гречневые или лапшовые пампушки; на ужин – снова горшок овощей, сушеная редька, жареные бобы, сладкий картофель и вареный рис с ячменем. Таков ее ежедневный рацион. Неимоверный аппетит привел к тому, что в течение трех лет вес ее утроился, и она продолжает полнеть.

Но жертвой этого оказался муж Дзин-сан. Обеспечить необходимое для ее желудка количество пищи – дело совсем не легкое. Одни только гречневые или лапшовые пампушки требуют огромных расходов. Правда, Дзин-сан сама немного зарабатывает шитьем, но для неутолимой потребности ее желудка это капля в море. Сельская управа, войдя в положение Дзин-сан и ее мужа, установила ежемесячное пособие, но и его не хватает.

Рассказ Дзин-сан.

Долго я стоять не могу – через пятнадцать минут устаю. Даже шить и то не могу, сколько нужно. Почти весь день сижу. В автобус влезть не могу, и поэтому,

когда нужно поехать в больницу Красного Креста, приходится нанимать грузовик. Ночью сплю плохо. Часто вижу страшные сны.

Такаси растерялся, а муж Дзин сказал, что ему пришлось, чтобы добыть денег, сдать главный дом усадьбы учителю начальной школы, но он договорился с ним, что на время пребывания в деревне Такаси и его друзей тот переселится в школу, в комнату дежурного, и спросил, согласен ли на это Такаси. Выложить все это было для мужа Дзин самым трудным делом.

Дзин сидела в темном углу на полу, далеко от входа; на вид она не казалась подавленной свалившимся на нее несчастьем и лишь повторяла: «Позор, позор, как я разжирела». Если вы захотите привезти Дзин подарок, то лучше всего захватите большую коробку пампушек или чего-нибудь в этом роде!

Когда жена перед отъездом зашла к отцу и рассказала об этом, тот – удивительный человек, несмотря на преклонный возраст, сохранивший способность понять весь комизм и вместе с тем трагизм ситуации, – точно следуя словам Такаси, заказал в фирме и прислал нам полдюжины больших коробок с пампушками. Мы с женой отправились в дорогу только после того, как отослали багажом еду для «самой крупной женщины Японии».

Дорога, по которой мы шли, стиснутая с двух сторон лесом, разворачивалась перед нами в бесконечном однообразии. И поэтому моему единственному глазу, потерявшему

способность воспринимать перспективу, казалось, что мы топчемся на месте.

– Небо как будто розовеет, но, может быть, это из-за моих покрасневших глаз? Впрочем, оттого, что глаза налиты кровью, вряд ли предметы будут казаться красными, правда, Мицу?

Я запрокинул голову. Деревья высятся черными исполинами, и создается иллюзия, что они теснят тебя с двух сторон, но узкая полоска серого неба розовеет – и это не иллюзия.

– Закат, вот и все. А кроме того, глаза у тебя уже не красные.

– Я ведь, Мицу, всю жизнь прожила в городе, и у меня не выработалась способность воспринимать этот цвет как цвет заката, – оправдывается жена. – Серый цвет, смешанный с красным, – так выглядит цветная фотография мозга, которую я видела в медицинском справочнике.

Жена все еще блуждает в кругу, ограниченном грустными воспоминаниями: от стриженой головки ребенка, ехавшего в автобусе, к головке нашего сына, а потом к поврежденному содержимому черепной коробки. Из ее глаз совсем исчезли признаки опьянения, и теперь, уже не налитые кровью, они превратились в две темно-серые впадины. Кожа на ее лице сплошь в мелких чешуйках, как листья кипариса. Когда все это вихрем пронеслось в моей голове, я ощутил во рту соленый вкус страха.

Как разъяренный зверь, взметая землю и сухие листья, на нас летит «джип». Приближение «джипа» восстановило перспективу, и я освободился от чувства, будто топчусь на месте.

– Така приехал!

– А где же «ситроен»? – с сомнением спросил я, осаживая жену, в голосе которой неподдельная радость, хотя и сам в стремительно летящем «джипе» увидел проявление характера долгожданного головореза Така.

– Это Така, Мицу, – убеждала меня жена.

«Джип» в пяти метрах от нас, взметнув облако краснозема, ткнулся носом в заросли сухой травы у обочины, проскреб крылом по дереву и встал, а потом на той же скорости помчался назад и наконец, перестав метаться, остановился. Жена сразу же выскользнула из-под моих рук, которые я раскинул в стороны, чтобы защитить ее от мчавшегося на нас «джипа», и они повисли плетьми. Я надеялся, что Такаси, который, свесившись с сиденья, высунул голову, не заметил этого.

– Привет, Нацу-тян, привет, Мицу, – беззаботно поздоровался с нами Такаси, похожий на пожарного в резиновом дождевике с капюшоном, свисающим на плечи.

– Спасибо, Така, – улыбнулась ему жена, к которой вернулось оживление, утраченное в автобусе.

– Мост, говорят, разрушен?

– Угу. Наш «ситроен» кое-как добрался до деревни, но

гнать его снова сюда, чтобы встречать вас, – этого бы он не вынес. Одолжил «джип» у лесничего. Он еще помнит меня и в придачу к «джипу» дал резиновый дождевик, – с простодушной гордостью сказал Такаси. – Ты, Мицу, садись сзади. А Нацу-тян удобнее будет впереди.

– Спасибо, Така.

– Вещи переправит Хосио. Главное – перетащить их через мост, а уж на той стороне можно воспользоваться «ситроеном».

Говоря это, Такаси с вернувшейся к нему осторожностью, так же как он вел машину до встречи с нами, тронул «джип».

– Как Дзин?

– Когда я увидел ее, я был потрясен. Тело ее кажется просто ужасным, но зато лицо – молодое и приятное. Среди деревенских женщин ее возраста она даже привлекательна. Ха-ха! Ведь она была беременна последним ребенком уже после того, как стала толстеть, значит, ее мужу нравилась жена, весившая свыше ста килограммов.

– Жизнь ее, видимо, ужасна?

– Положение, по-моему, не столь трагично, как это описано в газете. В общем репортер, так же как и я, был введен в заблуждение невообразимо унылым лицом ее мужа. Соседи приносят ей всевозможные продукты. Я никак не могу понять, почему прижимистые деревенские жители делают это вот уже шесть лет? Встретившись с настоятелем храма, соучеником нашего брата S, я спросил его об этом. Ока-

зывается, жителям деревни это выгодно. Отдавая продукты несчастной землячке, которая неожиданно растолстела и весит уже более ста килограммов, они тем самым передают свои просьбы богу. Человек, пораженный загадочной, неизлечимой болезнью, как Дзин, превращается в жертвенную овцу, принявшую на себя все беды и несчастья, уготованные жителям деревни, – в этом все дело. Так мне объяснил настоятель. У него философский склад ума. Видимо, он действительно стал человеком, который несет духовную ответственность за все, что происходит в деревне. Хорошо бы и тебе, Мицу, встретиться с ним. Он самый интеллигентный человек в этих местах, – сказал Такаси.

Объяснение настоятеля произвело на меня большое впечатление. Идея овцы – искупительницы грехов всей деревни – воскресила глубоко погребенное во мне воспоминание.

– Мицу, ты помнишь сумасшедшего, которого звали Ги? – обернулся ко мне Такаси как раз в тот момент, когда я, замолчав, пытался удержать ускользающее воспоминание.

– Отшельника Ги, который жил в лесу?

– Да. Сумасшедшего, который с наступлением ночи спускался в долину.

– Помню, конечно. Настоящее его имя Гиитиро. И я его прекрасно знаю. Среди деревенских ребят были такие, кто слышал лишь сказку об отшельнике Ги. Многие даже считали Ги оборотнем, который днем спит в лесу и только ночью бродит по деревне. Но наш дом стоит как раз между лесом

и долиной, и поэтому мне удавалось видеть, как Ги вечером спускается в долину по мощенной камнем дорожке, – объяснял я жене, которая не участвовала в нашем разговоре. – Ги с необычным проворством, как одичавшая собака, бегом спускался по склону. Я всегда смотрел ему вслед, и, когда он скрывался наконец из виду, долина как раз погружалась в ночь. Он спускался вниз, чутко улавливая крохотный просвет между днем и ночью. Мне помнится, у Ги постоянно было унылое лицо, глаза опущены, и он всегда спешил, сохраняя мрачный вид.

– Я встретился с отшельником Ги, – сказал Такаси, охлаждая мои восторги. – В надежде добыть чего-нибудь съестного мы глубокой ночью ехали в «ситроене» по деревне. Купить днем забыли. Но универмаг был уже закрыт, а другие магазины – на пороге разорения, поэтому ни один из них не торговал. Единственное, что нам удалось, – это встретиться с Ги.

– Отшельник Ги жив? Ты не шутишь? Он ведь, наверное, очень стар? Странно, чтобы человек, сошедший с ума и поселившийся в лесу, жил так долго.

– И тем не менее Ги не производит впечатления такого уж старика. Я, правда, встретил его в темноте и как следует рассмотреть не мог, но мне показалось, что ему немногим больше пятидесяти. Он совсем не похож на сумасшедшего, и только чересчур маленькие уши выдают его кретинизм. Ги заинтересовался машиной и вышел к нам из темноты. Момо-

ко поздоровалась с ним, и он с торжественной серьезностью представился: «Меня зовут отшельник Ги». Когда я сказал, что я сын Нэдокоро, он ответил, что помнит меня и однажды якобы разговаривал со мной. Жаль только, что я ничего не помню об отшельнике Ги.

– Это он говорил обо мне. Когда после демобилизации вернулся брат S, отшельник Ги однажды пришел к нам и разговаривал с братом и со мной. Он пришел спросить, действительно ли окончилась война. Дело в том, что Ги, боясь, что его возьмут в армию, убежал в лес. Он был единственным в деревне, кто уклонился от мобилизации. Брат S объяснил ему, что теперь нет необходимости прятаться, но Ги уже не мог вернуться к нормальной жизни. Если бы такое случилось в городе, Ги объявили бы героем. Но в деревне сумасшедший, убежавший однажды в лес, уже не имеет возможности снова влиться в деревенскую общину. Была война, и вся деревня признала за Ги право на существование в роли сумасшедшего – вот ему и пришлось остаться в том же качестве и после войны, – сказал я. Всплыли воспоминания далекого, дорогого мне прошлого, я весь точно обмяк: отшельник Ги до сих пор жив, подумать только! И ему приходится влачить это ужасное существование.

– Да он и сейчас еще полон сил. Лесной супермен, ха-ха! Когда мы, проехав по деревне, возвращались назад, в свете фар, как настоящий заяц, проскакал и скрылся отшельник Ги, и получилось это у него очень ловко. Он скакал, види-

мо, чтобы поскорее убежать от света, но нам показалось, что он хочет продемонстрировать свою ловкость, забавный дурачок, ха-ха!

С детства помню, что деревня всегда имела своего сумасшедшего; неврастеников и идиотов было сколько угодно, но настоящий сумасшедший, которого все единодушно считали сумасшедшим, только один. Никогда не случалось, чтобы таких общепризнанных сумасшедших становилось больше, не бывало также, чтобы деревня оставалась совсем без сумасшедшего. В этом, видимо, социальная особенность деревенских жителей – общепризнанный сумасшедший, как непременный составной элемент их среды, мог быть только один. Мне кажется, я неоднократно наблюдал смену деревенского сумасшедшего, единственного, как император. С конца войны роль этого непременного индивида взял на себя отшельник Ги. Слухи об отшельнике Ги приезжал проверять жандарм из города. Деревенские члены Союза резервистов устроили на Ги в лесу облаву, но потому ли, что никто из них по-настоящему не искал его, или из-за того, что в лесной чаще их подстерегали непроходимые завалы, заросли плюща и болота, да к тому же начинался девственный лес и поиски делались совершенно невозможными, поймать Ги, естественно, не удалось. Жандарм ждал, сидя под растянутым тентом на площади у сельской управы (я примостился на заборе, ограждающем нашу усадьбу, и видел все от начала до конца), а мать Ги плакала навзрыд, чуть ли не ползая на

коленях вокруг красно-белой ограды, окружавшей площадь. Но на следующий день, когда жандарм уехал, она уже весело работала, снова превратившись в обыкновенную деревенскую женщину.

Отшельник Ги был одним из «получивших образование», как говорят у нас в деревне: он окончил школу и работал помощником учителя. Однажды пьяные солдаты, эти беззаконники в мундирах, устроили засаду, пытаясь поймать Ги, который ночью блуждал по деревне в поисках пищи. Через несколько дней утром на площади, на доске объявлений Группы движения за демократизацию деревни, появились стихи, написанные отшельником Ги. Брат S, правда, сказал, что стихи принадлежат Кэндзи Миядзава, но в его собрании сочинений я не нашел этого стихотворения.

Вы собрались и швыряли в меня камнями.
Для вас это просто забава,
А для меня это смерть, – я сказал вам,
И вы побледнели, и сжали губы, и изменились в лице.

Когда, стоя в оживленной толпе перед доской объявлений, я прочел стихотворение, я подумал, кто из присутствующих побледнеет и изменится в лице, если Ги скажет им: «Для меня это смерть». Я спросил об этом у брата S, но он мне не только не ответил, а, сжав губы и побледнев, грозно глянул на меня, показал кулак и прогнал.

Я спросил Ги – ведь в последнее время мощь людей бес-

прерывно вторгается в лес, – не стало ли там хуже для человека, ведущего жизнь отшельника? Но Ги решительно отверг мое предположение. «Нет, – сказал он, – постоянно возрастает мощь леса. Деревня, – утверждал он, – скоро будет поглощена им». Действительно, в последние годы лес шаг за шагом наступает на деревню. Доказательством служит хотя бы то, что река, берущая начало в лесу, каждые пятьдесят лет смывает мост. Если исходить из того, что отшельник Ги – сумасшедший, то можно заметить некоторую странность его метода доказательств.

– Такой метод мне, Така, не кажется странным, – вмешалась вдруг в разговор молчавшая до этого жена. – С тех пор как я села в автобус, я не перестаю ощущать, что мощь леса растет. Подавленная этой мощью, я едва не лишилась чувств. Будь я отшельником Ги, я бы с радостью предпочла армию этому ужасному лесу.

– Нацу-тян симпатизирует, наверное, отшельнику Ги, – сказал Такаси. – Говорить, что человек, так остро ощущающий ужас леса, представляет собой антипод человека, сошедшего с ума и бежавшего в лес, мне кажется, неверно с точки зрения психологии, я думаю, их следует отнести к одному типу.

Вот тут-то я наконец смог представить себе, какие бы распустились цветы, если б я позволил беспрепятственно развиваться бутонам страха, прилепившимся к грубой, шершавой коже жены. Я разорвал цепь ассоциаций, пытаясь нарисовать

себе картину, как обезумевшая жена бежит в лес. Вспомнилась статья Кунио Янагида о женщинах, «почти обнаженных, лишь с тряпкой вокруг бедер, рыжих, с горящими глазами». «И это иногда становится очень серьезной проблемой, – пишет он, – когда в результате послеродового психоза деревенские женщины убегают в лес».

– В деревне можно купить виски, Така? – спросил я, побуждаемый инстинктом самосохранения.

– Мицу препятствует моему решению стать трезвенницей.

– Нет, я сам хочу выпить. А ты присоединишься к трезвой «гвардии» Така.

– Меня беспокоит сейчас только одно – смогу ли я заснуть без виски. Я ведь пью по вечерам совсем не для того, чтобы напиться. Когда Хосио бросил пить, он не страдал бессонницей?

– Честно говоря, я точно не знаю, много ли пил Хосио. Может, он водки в рот не брал и все это только разговоры. Просто хочет похвастаться своим героическим прошлым, а годы у него еще такие, что никаких геройских подвигов он не совершил. В общем, я не уверен в том, что он не врет, – сказал Такаси. – Я слышал, как Хосио разъясняет Момоко половую проблему. Бред. У них не было близости, и поэтому им кажется, что хотя бы обсуждать эту проблему с апломбом знатоков – героизм. Ха-ха!

– В таком случае мне придется самостоятельно, без вашей помощи тренировать себя, чтобы стать трезвенницей, –

грустно сказала жена. Но на ее слова, прозвучавшие очень печально, никто не откликнулся.

Узкая полоска неба, проглядывавшая между верхушками огромных деревьев, склоненных ветром в одну сторону, стала темно-красной, как обожженная кожа. Вырывавшиеся из леса испарения стлались туманом над лесной дорогой и медленно плыли на уровне колес «джипа». Мы должны выехать из леса до того, как туман поднимется до уровня наших глаз. Такаси осторожно прибавляет скорость. «Джип», вырвавшись из леса, выехал на возвышенность, откуда видно далеко вокруг. Мы остановили машину и стали смотреть на расстилавшуюся под багровым небом веретенообразную долину, окруженную, насколько хватало глаз, иссиня-черным, мрачным лесом. Дорога, по которой мы выехали, еще на возвышенности делает крутой поворот и по лесному склону идет вниз к краю долины, там переходит в мощеную дорогу, ведущую через мост в деревню, и наконец пересекается с другой дорогой у реки, берущей свое начало в противоположном конце долины, огибающей возвышенность и впадающей в море. Когда смотришь сверху, видишь, как дорога в долине взбегает на противоположный склон и там, где начинается лес, неожиданно исчезает, как река среди песков. С возвышенности и крестьянские дома, и поля вокруг них кажутся крохотными. Их подавляет огромный густой лес, обступивший долину. Действительно, кажется, что наша долина, как говорит сумасшедший отшельник, существует с тру-

дом, сопротивляясь поглощающей мощи леса. Создается даже впечатление, что не столько существует долина, сколько не существуют деревья на сравнительно небольшом пространстве в форме веретена. И человеку, захваченному ощущением, что лишь окружающий лес живет реальной жизнью, начинает казаться, что долина как бы прикрыта огромной крышкой. От реки, протекающей посреди долины, поднимается туман, и крестьянские дома выглядят погруженными на дно туманного моря. Наш дом стоит на горе, но все, что вокруг него, выглядит расплывчатым, тусклым, и ярким белым пятном выделяется лишь высокая каменная ограда. Я хотел было показать жене, где наш дом, но вдруг почувствовал острую, нестерпимую боль в глазу и уже не мог больше смотреть в ту сторону.

– Давай все-таки поищем, может, удастся купить виски, Мицу, – робко говорит жена, пытаясь восстановить мир и согласие.

Такаси с интересом посмотрел на нас.

– А не лучше попить воды? Здесь есть родник – местные жители говорят, что вода в нем самая вкусная во всем лесу. Если он еще не пересох, – соблазнял я жену.

Родник не пересох. В стороне от дороги, в самом начале поросшего лесом склона, бьет ключ и стоит малюсенькая лужица, которую можно прикрыть ладонями. Скопившаяся в избытке вода пробила канавку и стекает в долину. Около лужицы сложены очажки, новые и полуразрушенные; внут-

ри они – и глина, и камни – закопчены дочерна. В детстве мы с товарищами тоже сложили около родника такой очажок и готовили на нем еду. Каждый из ребят выбирает, к какой группе примкнуть и где разбить лагерь, так что ежегодно силы деревенских ребятишек перегруппировываются. Эти игры с ночевками в лесу устраиваются два раза в год – весной и осенью, но группа однажды объединенных между собой ребят сохраняет единство в течение всего года. И нет ничего ужаснее и позорнее, чем быть изгнанным из группы, к которой ты примкнул. Склонившись над лужицей, чтобы попить ключевой воды, я вдруг предельно осязаемо ощутил, что вижу сейчас то же самое, что видел двадцать лет назад: мелкие круглые камешки – серые, красные, белые – на дне, таком светлом, будто оно вобрало в себя всю яркость дня, чуть мутящий воду мелкий песок, легкое подрагивание поверхности. С поразительной достоверностью я ощутил, хотя это и было немыслимо, что бурлящая, беспрерывно струящаяся вода – та же самая бурлящая, струящаяся вода, что и тогда. И мне показалось, что я, склонившийся сейчас над родником, и я, еще ребенок, в давнюю пору присевший здесь, согнув изодранные колени, не один и тот же человек, и между двумя этими «я» нет никакой связи, никакой преемственности, и, значит, присевший тут «я» совсем другой человек, не имеющий ничего общего со мной, настоящим. Нынешний «я» теряю identity настоящему «я». И во мне, и вне меня не за что ухватиться, чтобы восстановить самого себя. Прозрач-

ная мелкая рябь на лужице журчит, и мне слышится обвинение: «Ты точно крыса». Закрыв глаза, я пью холодную воду. Десны сводит, на языке остается привкус крови. Когда я поднимаюсь, жена, будто я олицетворяю право на ключевую воду, покорно следуя моему примеру, склоняется над родником. Но теперь и я, как и жена, впервые попавшая в лес, абсолютно чужой этому ключу. Я вздрагиваю. Резкий холод пронизывает мое сознание. Жена тоже вздрагивает, поднимается и, пытаясь улыбнуться, чтобы показать, как вкусна была вода, растягивает свои посиневшие губы, но у нее получается оскал, а не улыбка. Касаясь друг друга плечами, дрожа от холода, мы молча возвращаемся к «джипу», и Такаси, чтобы не видеть жалкого зрелища, закрывает глаза.

Потом в плотном, густом тумане начинается спуск в долину. В тишине, когда наш «джип» с выключенным мотором осторожно двигается вперед, слышно лишь, как колеса разбрасывают мелкие камешки, как тент разрезает воздух, слышно острое шуршание листьев, опадающих с огромных дубов и буков, растущих вперемежку с сосной в редком лесу на крутом склоне, где лесная дорога переходит в мощеную, проложенную по долине. Кажется, что опадающие с верхушек высоких деревьев листья, скошенные силой ветра, ударившего их сбоку, не падают вниз, а плывут горизонтально и беспрерывно тихо шуршат.

– Нацу-тян, ты умеешь свистеть? – серьезно спрашивает Такаси.

– Умею, – настороженно отвечает жена.

– Когда свистят после наступления темноты, жители деревни сердятся. Мицу, ты помнишь это местное табу? – спросил Такаси с мрачностью, вполне соответствующей моему настроению.

– Помню, конечно. Говорят, что, если ночью свистеть, из лесу приходят черти. Бабушка говорила, что придет Тёсокабэ.

– Смотри ты! А вот я приехал в деревню и обнаружил, что многое уже забыл. Кажется, будто помню, но твердой уверенности нет, Я часто слышал в Америке слово «uprooted». Я и вернулся в деревню, чтобы снова укорениться. Ведь в конце концов я был вырван с корнем и почувствовал себя травой, лишенной корней. В общем-то я и есть uprooted. Я должен пустить здесь новые корни и чувствую, что существует подходящее для этого поле деятельности. Я не знаю еще точно, что оно собой представляет, но во мне крепнет убеждение, что необходима именно деятельность. Конечно, одно то, что я вернулся на родину, еще не означает, что мои корни именно здесь. Ты, Мицу, наверное, думаешь, что это сантименты, но ведь соломенной хижины не осталось, – продолжал Такаси с безмерной усталостью, совсем не соответствующей его возрасту, – я даже почти забыл о существовании Дзин. Если б она и не растолстела так, я бы все равно едва ли узнал ее. Когда Дзин, вспомнив, как она нянчила меня в детстве, заплакала, я испугался, представив себе, как эта

огромная незнакомая женщина может протянуть свои жирные шишковатые руки, чтобы погладить меня, – что я тогда буду делать! Я бы, конечно, не хотел, чтобы Дзин почувствовала мою неприязнь и страх.

Когда мы спустились в долину, была уже ночь. Со стороны временного настила, кое-как уложенного вместо моста, покореженного оттого, что железобетонные опоры частично были разрушены, а частично полегли, нам сигналили наши юнцы, отчаянно нажимая на клаксон, но в темноте их «ситроен» различить было невозможно. Такаси, возвративший леснику «джип» и прорезиненный дождевик, теперь был одет в охотничью куртку, привезенную из Америки, но в ней он выглядел каким-то жалким и маленьким. Я попытался представить себе, как брат играл перед американцами раскаявшегося участника студенческого движения. Но не брату, а мне самому следует прислушиваться к мощному голосу совершенно черного, когда смотришь из долины, леса: «Ты точно крыса». Когда я, весь напрягшись, поддерживал жену, переправляясь по временному настилу, ростки радости во мне оттого, что я вернулся в долину, начали вянуть. Холодные иглы ветра, дувшего снизу, с темной поверхности воды, впивались в лицо, и мне пришлось закрыть мой единственный глаз. Неожиданно сзади, снизу меня догоняет кудахтанье.

– Куры. Это в развалинах корейского поселка их разводит деревенская молодежная группа. Метрах в ста вниз по тече-

нию от моста, у дороги, ведущей к морю, в некотором отдалении от деревни, прилепилось несколько строений. Раньше в них ютились корейцы, которых насильно согнали сюда на лесоразработки. Мы дошли примерно до середины моста, и кудахтанье кур, не встречая препятствий, доносится до нас.

– Разве в такое время куры кудахчут?

– Говорят, что там их несколько тысяч и они вот-вот перемрут от голода. И кудахчут, наверное, тоже от голода.

– Деревенская молодежь без настоящего руководителя ничего как следует не может сделать. Если не появится человек, похожий на брата нашего прадеда, ничего у них не получится. Найти выход из сложной ситуации они не в состоянии, – сказал Такаси с откровенным отвращением. – Вернувшись в долину, я, Мицу, сразу же понял, чего стоят здешние жители.

4. Все сущее, явное и кажущееся, – всего лишь сон сна

Эдгар По

В первое утро в деревне, когда мы завтракали, сидя вокруг очага на дощатом полу, начинающемся от кухни, где стояла печь и была кадка с водой, прикрытая толстой деревянной крышкой, появились четверо детей с изможденными лицами, похожими на перевернутые треугольники, на которых выделялись лишь огромные глаза, и, стоя в ряд, смотрели на нас. Жена пригласила их поесть с нами, но они вздохнули в один голос и отказались: нам, мол, не нравится ваша еда, мы такую не едим. Потом старший из них сказал, что Дзин хочет со мной поговорить. Прошлой ночью я уже повидался с Дзин; как и говорил Такаси, она была огромной, но, за исключением некоторых частей тела, совсем не безобразной. На ее необъятном круглом и белом, как луна, лице слезились и были вытаращены, точно у рыбы, грустные, неясно очерченные глаза. Лишь по их блеску можно было узнать прежнюю Дзин. От нее пахло, как от животного, и жене очень скоро стало дурно, она вся сжалась, и мы поспешили домой. Только Хосио и Момоко, которым хотелось побыть с Дзин подольше, выразили недовольство. Зажав носы,

не дыша, так что лица их багровели, подталкивая друг друга в бок и еле сдерживая смех, они со всех сторон осматривали Дзин, а ее горевшие ненавистью дети с трудом сдерживали возмущение. И сегодня утром эти четверо изможденных детей отказались от угощения, может быть, потому, что невоспитанные юнцы смеялись вчера над их матерью. После еды Такаси повел жену и своих друзей осматривать амбар, а я в сопровождении детей пошел во флигель, где жила Дзин со своим семейством.

– Ну, Дзин, как спала? – приветствовал я ее из сеней, и она в полутьме, как и вчера вечером, подняла свое грустное лицо.

Вокруг нее наставлены горшки и всякая посуда в таком количестве, будто она торгует гончарными изделиями; водрузив подбородок на жирные складки шеи, она грустно смотрит вверх и задумчиво молчит. Луч утреннего света, проходящий над моим плечом, падает у ее мощных колен, и я наконец различаю, что она полулежит на грубо сколоченной огромной скамье, похожей на перевернутое седло. Прошлой ночью, в темноте, я по ошибке принял эту скамью за часть жирного тела Дзин, и мне показалось, что оно имеет форму конусообразной ступы. Рядом с ее скамьей в неудобной позе, готовый каждую минуту вскочить, сидит на корточках муж и молчит с таким видом, будто его прервали на полуслове. Прошлой ночью исхудавший, задумчивый муж Дзин тоже выжидающе молчал, и стоило ей вялым дви-

жением выразить пожелание, как он стремительно вскакивал и начинал кормить ее серыми гречневыми пампушками. Это продолжалось всего каких-то пять минут, пока мы с женой виделись с Дзин, и, казалось, было вызвано не столько неутолимым аппетитом, сколько желанием устроить спектакль, призванный красноречиво продемонстрировать всю тяжесть положения, в котором она оказалась.

Тоскливо выдохнув огромное количество воздуха, Дзин сказала, враждебно глядя на меня:

– Не спала я! Я просто видела дрянной сон – что я осталась без дома!

Я сразу же понял, почему Дзин хотела встретиться со мной, почему ее муж, с грустным лицом сидевший на корточках рядом с ней, неотрывно смотрит на меня.

– Разберут и отправят в Токио только амбар, а главный дом и флигель никто ломать не собирается.

– И землю, наверное, тоже продадите, – не унималась Дзин.

– Дзин, вопрос с твоим жильем решен: и земля, и главный дом, и флигель – все это остается, пойми ты.

В выражении лица Дзин и ее мужа особого успокоения я не заметил, но четверо детей, стоявшие позади родителей и внимательно следившие за мной, разом заулыбались, и я с удовольствием почувствовал, что беспокойство семьи рассеялось.

– А что будет с могилами, Мицусабуро-сан?

– Останутся как были, другого ничего не сделаешь.

– Останки S-сан до сих пор в храме, – тихо сказала Дзин. Даже такой короткий разговор утомил ее, под глазами пролегли уродливые тени, голос стал хриплым, точно в горле образовались бесчисленные дырки, сквозь которые просачивается воздух. Дзин являла собой необычайное уродство, превосходившее обыкновенное человеческое безобразие. Отводя от Дзин глаза, я безжалостно подумал, что в конце концов она умрет от разрыва сердца. Действительно, Дзин говорила Такаси, что предчувствует близкую смерть, и беспокоилась, уместится ли ее разжиревшее тело в печи крематория.

– Разжирев, Дзин уже почти ничего не может делать и чувствует, что живет бесцельно, ради того только, чтобы жиреть, не в силах отказаться от огромного количества пищи, поглощаемой ежедневно. Когда разжиревшая до безобразия сорокапятилетняя женщина без конца повторяет, что дни ее обжорства бесцельны, это уже о чем-то говорит. Дзин ничего не выдумывает, она и в самом деле ощущает, что с любой точки зрения существование ее бесцельно, и с утра до вечера продолжает пожирать огромное количество пищи. Пессимизм Дзин вполне обоснован, – говорил Такаси сочувственно.

– Ну что ж, останки брата S можно перенести из храма. Я еще хочу посмотреть картину ада, которая там висит, пожалуй, пойду сегодня, – пообещал я и вышел из флигеля.

– Был бы S-сан жив, ни за что не продал бы амбар! Мицусабуро-сан – хозяин! Плохо, ой как плохо! – раздался за

моей спиной тихий хриплый голос Дзин, но я пропустил ее слова мимо ушей.

Я пошел искать брата и остальных в глубине двора, зажатого между главным домом и флигелем. Не только толстая наружная дверь амбара, для защиты от огня покрытая лаком, но и внутренние двери – и металлические сетчатые, и деревянные – были распахнуты настежь. В глаза бросалась чернота балок из вяза и белизна стен – помещение наполнено утренним светом, но никого нет. Войдя внутрь, я стал изучать бесчисленные следы от мечей на дверных наличниках. Они сохранили для меня такой же грозный вид, как в детстве. В дальней комнате на веере, висящем в нише, едва различим алфавит, написанный тушью неумелым детским почерком на коричневом поле. В правом нижнем углу имя John Mang, еле заметное и двадцать лет назад, когда брат S учил меня читать его. «Прадед, выйдя из леса и тайно направляясь в Наканохама, в Коти, встретился с человеком, который вернулся из Америки и скрывался от властей. Он и подарил прадеду этот веер, написав на нем алфавит», – рассказывал мне брат.

Со второго этажа доносился звук, похожий на шаги. Начав подниматься по узкой лестнице, я сильно ударился виском о выступающий конец балки и вскрикнул от боли. В темной пустоте слепого глаза фейерверком брызнули горячие искры. Вспомнились заряженные частицы, оставляющие следы в камере Вильсона, вспомнился и строгий запрет ходить в амбар.

Я остановился в растерянности, на ладони, потиравшей щеку, – слезы, смешанные с кровью. Я прижал к виску носовой платок. Сверху показалась голова Такаси.

– Мицу, ты всегда так: приходишь туда, где Нацу-тян с чужим мужчиной, стучишь в стену, предупреждая, и даже после этого спокойно стоишь и ждешь? Золотой муж для прелюбодеев, – пошутил он.

– А «гвардии» твоей нет?

– Они ремонтируют «ситроен». Для молодежи шестидесятых годов деревянные консоли лишены всякой привлекательности. Их даже не удивило, что этот амбар – единственный и неповторимый в нашем лесном краю, – говорил Такаси, обращаясь к стоявшей сзади невестке, по-детски гордясь принадлежавшей его семье постройкой.

Я поднялся на второй этаж. Жена, закинув голову, смотрела на огромные балки из вяза, покоящиеся на консолях, и не обратила на меня ни малейшего внимания, а у меня из ранки на виске сочилась кровь. Каждый раз, ударяясь головой, я испытывал необъяснимый стыд, поэтому ее невнимание меня даже устраивало. Наконец она в восхищении вздохнула:

– Какие удивительно огромные вязы, еще хоть сто лет простоят!

Я почувствовал, что и жена, и Такаси необычайно взволнованны. Казалось, что от произнесенного братом слова «прелюбодей» где-то между стропилами притаилось чуть заметное эхо. Но почудившееся мне не имело оснований. По-

сле того что случилось с нашим ребенком, жена вырвала из своего сознания все, даже самые крохотные ростки влечения. Мы оба остро ощущали, что отныне физическая близость означает для нас взаимное отвращение и боль. И ни жена, ни я не стремились, естественно, к этому. Мы отказались от близости.

– В лесу, наверное, сколько угодно таких огромных вязов, и построить дом совсем не трудно, правда?

– Не совсем так. Прадеду и его домочадцам пришлось немало потрудиться, чтобы его построить. К тому же строение это особое, – тусклым голосом сказал я, стараясь, чтобы жена не заметила, что я с трудом превозмогаю боль в пораненном виске. – Возьми, например, вязы, их было сколько угодно, но ведь дом строился в то время, когда экономические силы деревни были подорваны и надвигались важные события. Постройка этого дома приобретала особый смысл. И действительно, как раз зимой, в тот год, когда постройка была завершена, вспыхнуло крестьянское восстание.

– Удивительно.

– Поскольку возможность восстания заранее предполагалась, прадед понял, что необходимо построить здание, не боящееся огня.

– А мне, Мицу, отвратителен наш консервативный прадед с его предусмотрительностью и дальновидностью. Такое же чувство испытывал к прадеду и его младший брат. Ведь именно он был настоящим борцом и возглавил крестьянское

восстание. Он был противником старого, был впереди века.

– А разве прадед, Така, даже если сравнивать его с братом, не был впереди века? Ведь он отправился в Коти, чтобы овладеть передовыми идеями.

– В Коти, я убежден, отправился брат прадеда, – возразил Такаси. – Но прадед не хотел этого признавать и сознательно искажал факты.

– Это неверно. Первым отправился в Коти прадед, а не его младший брат. А потом, после восстания, брат бежал в Коти и уже не вернулся – вот какая существует версия, – зло разбил я тенденциозные утверждения Такаси. – И можно легко доказать, что из двух братьев человеком, вышедшим из леса и благодаря встрече с Джоном Мандзиро воспринявшим передовые идеи, безусловно был прадед. После возвращения на родину Джон Мандзиро жил в Коти всего лишь год, с тысяча восемьсот пятьдесят второго по тысяча восемьсот пятьдесят третий. Во время мятежа тысяча восемьсот шестидесятого года брату прадеда было всего восемнадцать-девятнадцать лет, и, значит, он должен был отправиться в Коти десятилетним мальчиком, ведь это могло быть только в пятьдесят втором или пятьдесят третьем? А это немыслимо.

– Но расчистил учебный плац в лесу и готовил крестьянских детей к восстанию брат прадеда, и методы обучения он мог усвоить именно благодаря передовым идеям, воспринятым им в Коти, – неуверенно возразил Такаси. – Вряд ли прадед, примыкавший к тем, кто подавил восстание, стал бы

передавать брату методы обучения тех, кого готовили к восстанию, как ты считаешь? Разве так бывает, чтобы восстание совместно готовили враги?

– Почему бы и нет? – сказал я намеренно спокойно, но сам почувствовал, что голос мой стал резким. Еще с детства я привык возражать Такаси, который готов был изображать брата прадеда в ореоле героя и борца.

– Мицу, у тебя кровь идет? Опять стукнулся головой? – сказала жена, глянув на мой висок. – Почему тебя так волнуют старые истории, похожие на сон, и ты совершенно равнодушен к тому, что из ранки идет кровь?

– И в старых историях, похожих на сон, есть важные моменты, – сказал Такаси, впервые взглянув на мою жену с неодобрением.

Жена взяла у меня платок, вытерла кровь и, послюнявив палец, смочила ранку. Брат смотрел на нас так, будто присутствовал при интимном акте.

Потом мы молча, на некотором расстоянии, стараясь не касаться друг друга, стали спускаться по лестнице. В доме было совсем не пыльно, но тем не менее, пробыв в нем некоторое время, я испытывал ощущение, будто в ноздрях налипла пленка пыли и нос точно забит мукой.

Под вечер я, Такаси и жена вместе с юнцами пошли в храм за останками брата S. Дети Дзин прибежали туда еще раньше, и я надеялся, что в главном павильоне, как в день рождества Будды, вывесят пожертвованную нашим праде-

дом картину ада. Мы спустились к «ситроену», оставленному на площади перед сельской управой, – толпившиеся около машины деревенские дети потешались над нашей старой развалюхой, со смехом показывали пальцами на широкую полоску липкого пластыря, наклеенного над моим правым ухом. Мы не обращали на них внимания, и только жена, со вчерашнего вечера не пившая виски и пребывавшая в благодушном настроении, возрождаясь к новой жизни, радовалась даже насмешкам, которые дети посылали вслед «ситроену».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.